

НОВЫЙ МИР

10

МОСКВА

1942

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1942 г.

№ 10

Год издания XIX

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Александр Яшин — Волга, стихотворение	3
С. Сергеев-Ценский — Брусиловский прорыв. Исторический роман в 2-х частях (окончание)	4
Алексей Сурков — Письма в далекое, стихотворения	75
Леонид Соболев — Морская душа	78
Вл. Лядин — Простые рассказы	96
—————	
В. Стамбулов — Три года войны	103
—————	
О. Войтинская — «Радуга»	120
—————	

БИБЛИОГРАФИЯ

И. Эльвин — Книга о механизме гитлеровской диктатуры	125
Вл. Афанасьев — Стихи о героизме и мужестве	127

—————

Волга

АЛЕКСАНДР ЯШИН

★

Зализав свои рваные раны,
Забывая о русском штыке,
Снова ринулись псы-басурманы
К нашей матушке-Волге реке.

Так расправь на врага свои плечи,
Разожги свою ярость в груди,
Выходи к нему, Волга, навстречу,
На погибель ему выходи.

Врагу остается недолго
Шакалить в ковыльной степи.
Круши его, матушка-Волга,
Руби его, жги и топи.

Боевое былое вспомняем,
За Царицын отчаянный бой.
Шли в атаку матросы-волжане
И всю Волгу вели за собой.

Вспомним всех,—и родных, и знакомых,
Погребенных в приволжских степях,

И недремлющий пульман Наркома
На кривых, на запасных путях.

Разбойничать немцу недолго,—
На горло ему наступи,
Круши его, матушка-Волга,
Руби его, жги и топи.

Расправляй широченные плечи,
Разжигай свою ярость в груди,
Выходи басурману навстречу,
Из своих берегов выходи.

Не дадим ему грабить и резать,
Заливные топтать берега.
Грянь на немца огнем и железом,
Волга — русская наша река.

Разбойничать немцу недолго, —
На горло ему наступи,
Круши его, матушка-Волга,
Руби его, жги и топи.

Брусиловский прорыв

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

Исторический роман в 2-х частях

★

Часть I. БУРНАЯ ВЕСНА *

★

Глава шестая

ПРЕДВЕСТНИКИ

1.

Среди русских былин есть очень примечательная о том, «Как перевелись витязи на святой Руси». После одной из своих побед «На Сафат-реке» расхвастались витязи, что побьют и «силу нездешнюю». И «нездешняя сила» не замедлила явиться, чтобы наказать их за святотатство. Она предстала перед ними в лице двух воителей, которые тут же пошли на них боем.

Первый же витязь перерубил их пополам одним взмахом меча, но их стало четверо, и они снова идут боем на витязей. Второй перерубил пополам этих четверых в два взмаха, — их стало восьмеро, и живы все. После действий третьего витязя их стало шестнадцать, четвертый сделал из них тридцать двух, и когда кинулись на них все витязи, то благодаря их же геройству и силе перед ними выросло такое неисчислимое войско, что витязи испугались и обратились в бегство. Они бросились «в Киевские горы, в каменные пещоры», а подбежав к горам, — окаменели сами. Отчего же окаменели? Конечно, от ужаса перед непостижимым.

Нечто подобное этому совершилось на всем длиннейшем фронте запада России весной 1916 года, когда германским и австрийским генералам казалось, что Россия совершенно разбита летом предыдущего года и уже не в силах больше подняться, — остается только прикончить Италию и Францию, и выиграна будет затянувшаяся вопреки всем расчетам война.

В России перед войной числилось сто восемьдесят миллионов населения, но хотя и свыше десяти губерний на западе были уже заняты врагом, хотя потери в войсках, почти безоружных, благодаря предательству, перед наступавшими армиями австро-германцев и были действительно громадны, все же гораздо более громадны оказались русские резервы.

Немецкие публицисты писали еще в начале войны в своих газетах, что лишённые таланта организации русские будут в первый же год войны голодать среди изобилия съестных припасов в их стране. Однако, несмотря на то, что это предсказание казалось правдоподобным, голода не было и к концу второго года войны. А главное, росли и росли силы на фронте от Румынии до Финляндии.

Больше всего подкреплений шло в армии Эверта и Куропаткина, меньше — в армии Брусилова, однако, никогда раньше эти последние армии не были так многочисленны, как теперь.

Это бросалось в глаза и Ливенцеву, чем дальше, тем ярче, потому что даже

* Окончание. Начало см. «Новый мир», №№ 8, 9.

и на том маленьком участке фронта, какой занимала 101-я дивизия, становилось день ото дня заметней небывалое раньше насыщение фронта людьми.

Пришли пятисотенные роты пополнения, составившие ближние резервы каждого полка; пришли новые батареи. Прежде были только старые скорострельные японские пушки и 48-линейные гаубицы, — теперь явились еще донские конные казачьи батареи и туркестанская горная, в восемь орудий, — и для них усиленно рылись окопы и снарядные погреба.

Донцы, туркестанцы, волжане, вятские, мелитопольские, — подпрапорщик Некипелов, оказавшийся сибиряком, боевой начальник дивизии — кавказец, — в Ливенцеве все это отслоилось, как великая русская домовитость и плодovitость, щедро бросившая теперь сотни тысяч, миллионы людей не на захват чужих земель, как было в начале войны, а на защиту своей.

Разве не исконно-русская земля была Волянь? И вот на ней теперь сидели, в нее закопались австрийцы, мадьяры, босняки, немцы... Они заняли цепь холмов, командующих над русскими позициями; они укрепили их восемью рядами кольев, опутанных толстой колючей проволокой, и четырьмя рядами рогаток. Они не страдали недостатком тяжелой артиллерии, а тем более не знали, что такое снарядный голод. Штабные германские офицеры, командированные для ревизии укреплений на этом участке, нашли в начале апреля, что эти укрепления совершенно неприступны, и это позволило Конраду фон Гетцендорфу бросить с русского фронта несколько дивизий против итальянцев. Там, у австро-германцев, машины истребления ставились на место людей, — здесь людьми заполнялись места, предназначенные для машин.

Это оживотворяло войну в глазах Ливенцева. Не многомашинность, а многолюдство, — в этом для Ливенцева таилась и смысл русской пословицы «На людях и смерть красна». И что еще находил он теперь нового в себе самом, — это непосредственное, живое ощущение России.

Никогда так ярко и ясно не приходилось ему чувствовать этого раньше. Этого не было и в Севастополе в первый год войны, когда он томился в своей дружке, в которой недоставало содружества; этого не было потом и в Галиции, когда он жертвовал здоровьем и жизнью за то же, как не за ту же Россию. Наконец, может быть, этого не было бы и теперь и, во всяком случае, не было бы с такой определенностью, четкостью, если бы к нему в госпиталь, когда он уже почти оправился от своей раны, не приехала из Херсона получившая для этой цели отпуск всего только на три дня Наталья Сергеевна Веригина, — библиотекарша публичной библиотеки, сказавшая ему, подавая «Размышления Марка Аврелия Антонина о том, что важно для себя самого»: «Других книг этого автора у нас нет».

Он простил ей эту фразу библиотекарши тогда же, а больше ей нечего было прощать. Он помнил, он представлял ее теперь только такую, какой она была, когда поднималась по лестнице на второй этаж, где он, опираясь о стену, чтобы не упасть от счастья, стоял и глядел на подсолнечник ее золотых волос, едва прикрытый шляпкой, на ее голубые, как просветы в небе, глаза, поднятые к нему и смотревшие встревоженно за него и радостно за встречу с ним, и по-матерински любовно и, как у сестры, нежно, и, как у самого дорогого человека во всем мире, отзывчиво.

Это был не шопенгауэровский гений рода, а гораздо больше, — неизмеримо больше — Родина!.. Он вспоминал теперь, не пропуская ни одного слова, все, о чем они говорили тогда, сидя рядом на жестком деревянном диване госпитальной столовой, которая во внебедное время служила также и комнатой для свидания с посетителями раненых, могущих ходить.

Она сказала ему тогда: «Разве для вас секрет это, что мы уже накануне революции?»... Он же говорил ей потом, когда они уже спустились вдвоем и рядом с лестницы вниз: «Я не хотел бы только одного: отставки!.. Я не хотел бы, чтобы меня разоружили, потому что революцию способны сделать все-таки

вооруженные люди, а не безоружные»... Он добавил еще тогда: «Чтобы сделать рагу из зайца, нужен заяц, — так говорят французы, — а чтобы сделать революцию в России, нужна прежде всего Россия!»

Этим тогда он как бы Родине присягнул на ее защиту, Родине с золотыми подсолнечниками, с золотыми морями спелых хлебов и с голубым тихим орловским небом.

Неожиданным для себя самого чувствовал он себя теперь, когда снова попал в меотийские болота грязи волынской, которая была ничем не лучше прошлогодней галицийской грязи. Тогда он стoisчески перенес все не потому, конечно, что читал в Херсоне стойка Марка Аврелия, однако, и не потому, что в его жизнь вошла Наталья Сергеевна. Тогда он просто был еще полон неистраченных молодостью сил, тогда в нем было упорство, упрямство, иногда даже соперничество с другими подобными ему «математиками в шинелях», как называл себя он сам. Он был самолюбив, конечно, и по одному этому уже не мог позволить себе быть слабее кого бы то ни было. Но зато он отводил душу, подшучивая над войной, не только над тем, как она велась, но и зачем велась. Теперь ему казались странными даже чужие шутки по поводу целей войны: он твердо знал, что война велась во имя преобразования России, но не ошипанной, не обдерганной, не кургузой России, а такой, какую создалась она в силу исторической необходимости. Теперь, сам защищая границы государства, он несравненно глубже понимал слово «границы», чем это было раньше; хотя он и на новой границе оставался тем же прапорщиком и был снова тем же ротным командиром, не больше того, он готов был теперь аплодировать, кричать «ура» каждой новой роте, каждой новой батарее, прибывающей на участок дивизии Гильчевского.

И даже именно то, что он попал в дивизию к такому боевому генералу и что он будет действовать, худо ли, хорошо ли, в рядах бывшей армии Брусилова, казалось ему тоже удачей: он верил в то, что приказаний легкомысленных, не-

разумных, неисполнимых полк, а значит, и его рота, не получит от начальника дивизии, потому что командир корпуса не получит подобных приказаний от Каледина, а Каледин от Брусилова.

Ливенцеву во что бы то ни стало хотелось, чтобы теперь, именно теперь, была не цепь каких-то непостижимых нелепостей, как в прежнем полку, у полковника Ковалевского, в Галиции. Он, математик, хотел точного учета всех вероятностей прежде, чем началось бы наступление, чтобы новое наступление это прошло иначе, чем прошлогоднее — седьмой армии генерала Щербачева, — когда полку их не дали даже оглядеться, а прямо с подхода погнали в бой.

Теперь проходил день за днем, подсыхала земля, выше и выше ходило в небе солнце, больше и глубже втягивались в позиционную жизнь солдаты четвертого батальона, знакомее становились холмы врага, скутанные паутиной заграждений, и не только всем существом желалось успеха, — верилось в успех.

Пасха в этом году пришлось на 10 апреля. С днем этого весеннего праздника у Ливенцева, как у всех русских людей, связывалось многое, впитанное еще с детства: целодневный, даже целонедельный колокольный трезвон во всех церквах; крашеные в разные веселые цвета, но больше в розовый и красный, яйца; христосование; блаженное ничегонеделанье; визиты; сплошь подвыпивший, а кое-где и до положения риз пьяный народ; яркие новенькие платья женщин; песни жаворонков в полях; пушистые, точно в подвенечном уборе, вербы у прудов; сладкий, как березовый сок, весенний воздух...

От одних этих воспоминаний больно щемило душу здесь, на фронте, где все пытались притвориться праздничными: поздравляли друг друга, христосовались, приглашали друг друга пить водку и есть ветчину и крашенки, доставленные к этому дню в окопы.

Однако день этот никому не давал забыть, что «друг друга обьемем, ржем: «Братие!» и ненавидящим ны простим», как пелось в церквах утром, там же, в церквах и осталось, а здесь можно бы-

ло жить только смутной надеждой на счастье Иванушки из русских сказок, дела которого за его великую простоту и терпеливость возьмут вдруг да и увенчаются полной удачей, ошеломляющим успехом.

И, как предвестник действительно большого успеха, в половине апреля выпал на долю 101-й дивизии успех, хотя и маленький сам по себе, но звонкий, и виновником его был сам начальник дивизии, который чем дальше, тем больше нравился Ливенцеву.

За две с лишним недели Ливенцев успел уже как следует присмотреться к этому неугомонному человеку, так как тот несколько раз бывал в его роте. Совершенно естественно у него выходило, когда он, задавая какой-нибудь вопрос солдату, добавлял при этом: «Ну-ка, друг сердечный, таракан запечный, — умудрись!» А если ответ был неудачный, то: «Нет, брат, не ходи один, ходи с тетенькой!» или что-нибудь еще в этом роде, так как подобных словечек был у него огромный запас.

Изумляло Ливенцева прежде всего то, что он не только видел Гильчевского, но и часто видел, между тем, как у него уже сложилось убеждение о начальниках дивизии вообще, как о существах таинственных, наподобие тибетского Далай-Ламы: сидят где-то в своих штабах обычно верст за десять-пятнадцать от своих дивизий, получают приказания свыше, издают приказы по дивизиям, — и это все. Таким был и начальник той дивизии, в которой он был раньше, некий генерал Котович: Ливенцеву его так и не пришлось увидеть.

И вот — новый, у которого уже немало под начальством: двадцать две тысячи пехоты, одиннадцать батарей, обозы всех видов, сложная сеть укреплений, которую он ежедневно усиливал... И каждый день он непременно лично бывал здесь или там, наблюдая глазами хозяина за всем своим немалым хозяйством, и штаб его в колонии Новины приходился всего в трех верстах от передовых окопов.

Успех, выпавший на долю дивизии, показал совершенно неожиданно для

многих чересчур осторожных, что наступать даже и среди белого дня на Юго-Западном фронте можно.

В отместку за неожиданное ночное нападение мадьяр на выдвинутые вперед окопы двух рот соседнего 403-го полка, причем были, конечно, и убитые, и раненые и несколько десятков человек вместе с командиром одной из рот, старым подпоручиком, попавшим в пехотное ополчение, были взяты в плен, Гильчевский приказал полку немедленно же отбить у мадьяр окопы.

Расчет его был простой: с наблюдательного пункта он видел, что мадьяры не успели еще сделать в свою сторону ходы сообщения из занятых русских окопов, так что ни отступить им было нельзя, — они были бы перебиты перекрестным огнем из соседних окопов, — ни помощи дать им свои тоже не могли из опасения слишком больших потерь.

— Ага, сукины сыны, — сами в крысоловку попали! — кричал возбужденно Гильчевский, наблюдая с вышки в бинокль за тем, как падают и взрываются снаряды гаубичных батарей в только-что под утро занятых врагами окопах.

Конечно, артиллерия с той стороны тоже развила возможный для нее огонь, но она оказалась слабее русской, хотя от ее снарядов фонтанами летела вверх грязь из болотистой речушки Муравицы, протекавшей через позиции 403-го полка и дальше, уже за позициями австрийцев, впадавшей в реку Йкву.

Ожесточенно стрекотали пулеметы с обеих сторон, гремели винтовки, — казалось, что сражение, начавшееся на небольшом участке, разовьется в очень серьезное, но оно только удивило как соседей Гильчевского справа и слева, так и соседей венгерской дивизии: о начале серьезных действий должно было дать знать высшее начальство, а начальство это пока молчало.

Не больше как через два часа после начала сражения, когда три роты потерпевшего полка пошли в атаку, канонада утихла: из окопов, занятых ими ночью, начали выходить венгерцы с белыми флагами и сдавать оружие.

По ходам сообщения, потом по мосткам через Муравицу прошли под конвоем в тыл остатки двух батальонов мадьяр — шестьсот с лишком солдат при двадцати трех офицерах. Это были сытые на вид, здоровые люди в сероголубых шинелях; они имели ошеломленный вид, особенно офицеры. После удачи, стоившей им очень дешево, по их же словам, так как силы их были четверные, и вдруг плен!

Зато ликовал 403-й полк, и вся 101-я дивизия, и сам виновник «крысоловки» начальник дивизии Гильчевский, причем его ликование относилось не столько к удаче контратаки, в чем он заранее не сомневался, сколько к тому, что командир корпуса генерал Федотов не успел ему в этом помешать.

Все потери 403-го полка свелись к 240 солдатам и семи офицерам, а разгромлено было полностью два батальона мадьяр.

2.

В конце апреля Брусилов должен был ехать из своей штаб-квартиры сначала в Одессу, а потом в Бендеры снова встречать царя. Верховный главнокомандующий отправился из Ставки на смотр сербской дивизии, в которой, кроме сербов, было много и других славян, бывших подданных Франца-Иосифа, попавших в плен.

Все не нравилось в этой новой встрече с царем Брусилову.

Прежде всего то, что из пленных воюющей страны формировались дивизии, — это противоречило международному праву и давало основания немцам делать то же самое в отношении русских военнопленных. Правда, немцы кинули на Юго-Западный и Западный фронты польские легионы, но они прикрывались тем, что поляки в них — подданные Германии и Австрии, а не из бывшего «Царства Польского». Что же касалось привлечения пленных русских солдат к работам в тылу фронта, то к подобным мерам прибегали и русские военные власти, только назначались на работы австрийцы, а не германцы: пленным германцам выдавались кормовые деньги, но

делать они ничего не делали, на чем настаивала сама императрица.

Не нравилось Брусилову и то, что царь, объявивший себя главнокомандующим, как будто все время только и думает о том, куда бы ему улизнуть из Ставки, где одолевает его смертельная скука. Брусилов часто признавался и самому себе, и своим близким, что совершенно ничего не понимает в этом императоре величайшего государства в мире. Не понимал он и его вечного стремления куда-то ехать, хотя с точки зрения дела ни малейшей в этом не было нужды. Можно было только поставить эту особенность царя в прямую зависимость от наследственности. Любил ездить без всякой ошутительной цели Александр I, любил ездить брат его Николай, причем царские кучера постарались два раза вывалить его из тарантаса, и один раз, на Кавказе, он чуть было не свалился в пропасть, — едва удержался за колючий куст, — другой раз, под городом Чембаром в Пензенской губернии, сломал себе ключицу; любил ездить и Александр II, который бывал даже во времена своего долгого наследничества и в Сибири, жители которой принесли ему за время путешествия шестнадцать тысяч письменных жалоб на лихоимство чиновников; более тяжел на подъем был Александр III, но много ездил и он, и умереть ему довелось не в Петербурге, не в Гатчине и не в Царском селе, а в Ливадии.

Но, если бы эта черта была в Николае II и наследственной, все-таки наиболее бесцельные поездки, лишь бы убить время, имелись у этого очень незадачливого человека.

Наконец, не нравилось и то, что его, Брусилова, отрывают на несколько дней на то, что совершенно и ни для чего не нужно, от того, что в высшей степени необходимо, от подготовки к наступлению на его фронте, для чего ценен и важен каждый час.

Царю было скучно в Ставке, где он ежедневно по утрам принимал Алексева с докладом о положении дел на фронте, чем и оканчивались все его работы о взятых на себя огромных обя-

занностях, а семье царской скучно было в Царском Селе, тем более теперь, весною, когда, как известно, даже и счастливых тянет вдаль; поэтому-то теперь царь путешествовал вместе со своим семейством.

В Бендерах на вокзале встречал царя Брусилов, потом представлял ему новую, только-что сформированную пехотную дивизию. Смотр этот прошел так, как ему уже было известно по Каменец-Подольску: у царя не нашлось ни одного сердечного слова для обращения к полкам, которые предназначались на фронт, где готовились невиданные еще в эту войну бои.

Впрочем, и с самим Брусиловым царь не говорил о подготовке к наступлению, как будто не об этом наступлении шло целый день совещание в его присутствии в Ставке с месяцем назад. Брусилов не заговаривал об этом сам, так как ждал вопросов царя, но так и не дождался и терялся в догадках: почему бы это? Была ли это забывчивость; была ли это деликатность, — дескать, я в вас уверен, и мне незачем задавать вам вопросы, как у вас там на фронте и что, была ли это осведомленность из других источников, например, от Алексеева, или, наконец, было это полнейшее равнодушие ко всему, что делалось и во всей армии, и во всей России? Брусилов боялся думать, но все же не мог не думать, что последнее предположение, быть может, самое верное, если только он вообще способен понять что-нибудь в таком тщательно закупоренном человеке, как царь.

Так как сербская дивизия была в Одессе, то нужно было ехать туда в свитском вагоне, где приходилось делить время с такими пустыми людьми, как Воейков, флаг-капитан адмирал Нилов, способный пить сколько угодно, начальник конвоя граф Граббе, гофмаршал князь Долгоруков, — все уже знакомые ему по завтраку и обеду в царской столовой в Могилеве, в день совещания.

К дивизии сербской в Одессе царь выказал не больше внимания, чем к дивизии из своих ополченцев в Бендерах. Но зато в Одессе Брусилов неожиданно

для себя был приглашен в вагон императрицы.

Жена Брусилова деятельно трудилась по части поездов-складов и поездов-бань, обслуживающих армию на фронте и носивших название «поездов ее величества», так как через канцелярию царицы шли средства на их содержание; жена Брусилова не раз получала от императрицы и благодарственные телеграммы за труды, — сам же Брусилов впервые удостоен был ее внимания.

Стояла яркая южная весна, синело очень ласковое из вид море, а в вагоне перед Брусиловым сидела бледная, узкогрудая женщина, с высокой тонкой шеей, с высокой прической жидких темных волос и с какими-то брезгливотоскливыми карими глазами.

Ничего живого не было в этом лице, — не было и наигранной величавости. Напрашивался вопрос, не было ли усталости, но тут же отпадал: нет, усталости не было, но на худое длинное лицо это с прямым продолговатым носом как будто давно уже была плотно надета маска, так что оно лишено было способности изменяться; улыбающимся это лицо Брусилов никак не мог представить, однако и очень раздраженным тоже. Но что чрезвычайно удивило Брусилова, так это то, что она с первых же слов заговорила о готовившемся им наступлении на Юго-Западном фронте.

Вот кто оказался неравнодушным к тому, что он затеял, на что сам напротился в Ставке, не царь, а она — эта слабая на вид женщина с брезгливотоскливыми глазами.

— Я слышала, что вы хотите переходить в наступление на своем фронте? — с легким немецким акцентом, медленно подбирая слова, спросила она по-русски.

— Да, ваше величество, — удивленный, что с этого вопроса началась беседа, ответил, поклонившись ей, Брусилов.

— И что же, вы уже вполне готовы к этому наступлению? — делая ударение на «вполне», спросила она с таким выражением глаз, что он не знал уже, чего в них стало больше, брезгливости или тоски, видел только, что в них от-

нюдь не было равнодушия, как в рано выцветших глазах царя.

— Я не могу уверенно сказать, что вполне, ваше величество, но и я, и мои подчиненные, командующие армиями, командиры корпусов и дивизий, — все мы делаем всё, что в наших возможностях и силах.

Брусилову показалось после этих слов, сказанных тоном доклада, что брезгливости в глазах царицы стало как будто больше. Она ничем не отозвалась на сказанное, только смотрела прямо ему в глаза долго и внимательно, так что ему стало не по себе. Наконец, спросила:

— Когда же именно, какого числа думаете вы переходить в наступление?

Этот вопрос заставил его насторожиться. Он лично считал, что наступление нельзя откладывать дальше 10 мая и чуть было не сказал так, но тут же себя одернул: подозрительным показалось ему вдруг любопытство этой женщины к тому, что касалось только ее мужа, как верховного главнокомандующего, и в то же время не возбуждало никакого любопытства в нем. Кто из них пытался стать вождем русской армии, — царь ли, бегавший из Ставки, она ли, благословляемая на это своим «святым старцем»? Ее симпатии к немцам были ему известны, и он ответил на ее вопрос насколько можно было туманно:

— Пока ничего еще определенного на этот счет мне неизвестно, ваше величество... Обстановка на фронте ежедневно меняется, а момент должен быть выбран наиболее подходящий... Об этом нам главнокомандующим фронтами будет дано знать, я полагаю, только накануне наступления, ваше величество. Тогда мы получим телеграммы из Ставки и начнем.

— И что же, вы надеетесь на успех? — быстро спросила она, очевидно, заранее подобрав слова.

В этом вопросе, в самом его тоне почудилась Брусилову тонкая ирония, хотя выражение маски-лица как будто несколько не изменилось. Это подстегнуло Брусилова, как удар хлыста, и он ответил твердо:

— В этом я вполне убежден, ваше величество: в этом году мы разобьем противника!

Тоскливая брезгливость глаз дополнилась еще и сожалением, — так показалось Брусилову, но вот отвернувшись от него глаза, тонкие руки начали искать что-то и нашли: она протянула ему маленький серебряный образок с эмалью, Николая Мирликийского.

— Вот, примите от меня, — сказала она совершенно неопределенным тоном, и Брусилову оставалось только пробормотать слова благодарности и взять образок.

— Приносят ли пользу на фронте мои поезда? — спросила она без любопытства.

И когда Брусилов ответил, что приносят и очень большую, она подала ему руку.

Беседа была окончена. Эмаль же с образа Николая-Угодника почему-то отскочила, и Брусилов принес в свой вагон только серебряную пластинку.

3.

— Главнокомандующий большим фронтом несколько похож на театрального режиссера, — говорил Брусилов своему начальнику штаба Клембовскому, возвратясь из этой поездки в Бердичев, — разницу между ними я вижу только в том, что режиссеру-то известна во всех мелочах пьеса, какую он собирается ставить, а главнокомандующий только еще собирается писать эту пьесу, имея при этом соавтора, который внесет в нее существенные поправки.

— Кого же вы разумеете под соавтором, Алексей Алексеевич? — спросил Клембовский, так понятиливо улыбаясь при этом, что Брусилову оставалось только сказать: «Конечно, вас, как начальника штаба», но он сказал:

— Разумеется, я имею в виду австрийского главнокомандующего русским фронтом, а не вас. Точнее, я говорю о нескольких: и об эрцгерцоге австрийском Иосифе-Фердинанде с его четвертой армией, и о генерале Пфланцер-Балтине с его седьмой, и о генерале

Линзингене, подпирающем своими немцами австрийцев, а не об одном только главнокомандующем фон Гетцендорфе. Это они все будут вносить поправки в то, что мы с вами тут сочиняем... А все наши расчеты в конце-то концов основаны только на том, что против нашего фронта стоит, по нашим сведениям, до полумиллиона, а у нас, что мы знаем, гораздо больше... Вот, в сущности, и все наши шансы: у нас есть резервы, у нашего же противника их нет. А когда он их подтянет, то наши шансы сойдут на нет, но зато мы прикуем к себе силы противника и не дадим их бросить на Эверта и Куропаткина, которые тем временем будут громить немцев. Только так мне рисуется наше будущее.

На умном, нервном лице Клембовского улыбка; погасшая было, разгорелась вновь.

— Не всякий рожден для того, чтобы счастливо командовать сотнями тысяч людей, — сказал он, — я, например, как уже не раз говорил вам, Алексей Алексеевич, не рожден для этого. Но что касается генералов Эверта и Куропаткина, то мне кажется, что и они...

Вместо того, чтобы договорить, он предпочел вздохнуть и развести руками.

— Не-ет, теперь уж им нет выбора, — теперь уж жребий брошен! Теперь им просто прикажут из Ставки наступать, и тогда и берлинские и венские умники поймут, как оставлять весь фронт без резервов! — с горячностью возразил Брусилов. — На всем фронте в тысячу верст, если мы нажмем одновременно, — чего ведь не было за всю войну, — что составляло всю мою идею наступления, — они затрещат, они откатятся!.. Бить противников по частям, — сегодня одного, завтра другого, — вот и вся их стратегия. Сейчас, когда они сцепились — германцы с французами, австрийцы с итальянцами, если мы не выступим всем фронтом, то что же мы такое будем, а? — Байбаки, дураки или... или даже просто-напросто негодяи, а? Ведь своим бездействием даже и сейчас, когда идет уже май, а мы не двигаемся, мы только играем на руку Вильгельму! А вот если выступим во-

время, то Вильгельм будет уже не Вильгельм, а журавль!

— Почему журавль? — не понял Клембовский.

— А это я о том журавле говорю, который «птица важная и вальяжная: нос вытащит, — хвост увязит, хвост вытащит, — нос увязит». Тогда немцам придется метаться между Верденом и нашим Западным фронтом, а фон Гетцендорфу между итальянцами и нами, а кто за двумя зайцами гонится, ни одного не поймает; или вот еще, как это говорят у нас на Кавказе горцы: «Два арбуза под одной подмышкой не унесешь». Только на это мы и можем идти при нашей отсталой технике, а больше на что же нам ставить?

Вопрос женщины с тоскливо-брезгливыми глазами: «Вполне ли вы готовы к наступлению?» стоял перед Брусиловым каждый день с утра до поздней ночи, когда он приехал в свою штаб-квартиру. Он придавал ему особенную нарочитость: склонный к мистике, он считал эту женщину роковой для России. Все немногие слова, какие он от нее слышал в вагоне, он по многу раз перебирал в памяти, стремясь проникнуть в то, что таилось за ними.

Что она не хотела никакого наступления, это он понял, конечно, еще тогда, в вагоне.

Чего же она хотела? В каком направлении она действовала на царя, — вождя всех войск?

«Ничто немецкое, конечно, не было ей чуждо и все русское непременно должно было казаться ей чужим, — раздумывал над словами царицы Брусилов, — а как же согласовать это с русским конокрадом, пьяницей и сатиром, «святым старцем» Распутиным? Наконец, пусть это — неразрешимый вопрос, но не по желанию ли царицы сделан главнокомандующим Северо-Западного фронта Куропаткин, разумеется, для того только, чтобы фронт его двигался назад, а не вперед, так как он испытанный мастер отступлений? И не действовал ли по тайному приказу царицы Эверт, когда проваливал свое большое наступление в марте и когда остановил в самом начале наступательные действия в апре-

ле? Не изменник ли он, попросту говоря, такой же, каким оказался бывший военный министр Сухомлинов, — когда-то свой человек во дворце?»

Обилие и острая горечь этих мыслей угнетали Брусилова.

В апреле, две недели спустя после совещания в Ставке, Эверт, как бы желая воочию доказать царю, что его фронт к наступлению совершенно неспособен, приказал одной из своих армий продвинуться на коротком участке при озере Нарочь, потерял за два дня до десяти тысяч человек и на том закончил, послав донесение с ядовитым вопросом в конце, — следует ли ему пытаться вернуть потерянную территорию и уложить ради этого еще три корпуса, или «упрочить только современное положение»? Алексеев предложил остановиться на последнем.

Алексеевым руководила вполне понятная Брусилову мысль: не спешить с наступлением на каком-либо одном фронте, пока не подготовлено оно на всех, — а какие мысли владели Эвертом? Это была загадка для его соседа по фронту Брусилова, загадка, которую решить он не мог, пока не началось наступление, и которую было бы поздно решать, если наступление на своем фронте тот провалит.

Если к позициям Брусилова подходили подкрепления из резервов и подвозились орудия и снаряды, то это вызывалось только необходимостью развернуть трехбатальонные полки в четырехбатальонные, и дать им пополнения на первый случай, — это делалось, само собою разумеется, и на других фронтах. Но, кроме того, Эверт в первую голову, Куропаткин во вторую, получали еще и новые части, и тяжелые орудия из общешармейских резервов, и обильные запасы снарядов к ним.

Брусилов понимал, конечно, что сломить противника, стоявшего против Эверта, труднее, чем ему сломить смешанные австро-германские армии, но зато и средства для этого отпускались щедро, а он был обделен. И к Эверту, и к Куропаткину, как к старым генералам времен японской кампании, у Алек-

сеева как бы оставалось еще старинное подчиненное отношение, хотя могло бы уж, кажется, оно выветриться с годами. Брусилова возмущало в Алексееве именно то, что он, будучи теперь выше по положению, чем эти двое, все-таки был с ними в Ставке преувеличенно любезен, чуть ли даже не низкопоклонничал перед ними, а между тем...

Когда 11 мая из Ставки в телеграмме от Алексеева подтверждено было то, что уже просачивалось в газеты об отчаянном положении итальянских войск на плоскогорье Азиаго, где теснили и местами гнали уже их австрийцы, забывая огромные трофеи и массу пленных, Брусилов принял это, как долгожданный сигнал к действиям.

Об этом именно, по словам телеграммы, и просило высшее командование итальянской армии: наступать, чтобы оттянуть от них петлю, уже занесенную над их головою, сыграть роль вытяжного пластыря. Алексеев запрашивал почти теми же словами, как и царица в вагоне: «Готов ли он выступить на помощь союзникам и когда бы мог он это сделать?»

Брусилов ответил, что вполне готов, — теперь он уже не опасался слова «вполне», — и начать наступление мог бы через неделю, — 19 мая, если только в тот же самый день приступит к боевым действиям и Эверт.

Послав такую телеграмму, Брусилов ждал приказа, чтобы немедленно передать его всем четырем своим армиям, однако, напрасно ждал день, два, три. Наконец, Алексеев вызвал его для разговора по прямому проводу. Оказалось, что он не бездействовал эти дни: он улаживал Эверта и добился того, что 1 июня обещал начать действия этот упрямец. Поэтому-то, чтобы сократить разрыв во времени, он предлагает Брусилову начать наступать не 19-го, а 22 мая.

Напрасно доказывал Брусилов, что десять дней — это огромный срок, что за десять дней можно или разгромить чужую армию, или потерять свою, если не будет поддержки. Он убедился, что Эверта, от имени которого говорил

Алексеев, ему не переубедить, — приходилось мириться и на этом сроке.

— Ну, а могу я получить гарантии, Михаил Васильевич, что Эверт не передвинет свое выступление на несколько дней? — спросил Брусилов.

— Нет-нет, Алексей Алексеевич, об этом не беспокойтесь: этот срок зафиксирован прочно, о нем должно государю, — донесся вполне твердый, убеждающий голос Алексеева, и на этом закончилась деловая беседа.

Брусилову оставалось только передать своим командирам, что день наступления приурочен к 22 мая, что он и сделал. Однако напрасно он думал, что с этим все уже кончено: сколько ни вопили о помощи итальянские генералы, Ставка стремилась под тем или иным предлогом, очевидно, в угоду Эверту и Куропаткину, оттянуть решительный день.

Теперь в дело вмешался сам царь и вмешался как-раз накануне открытия действий, — вечером 21 мая.

Опять был вызван к прямому проводу Алексеевым Брусилов, и, как оказалось, для того, чтобы он отказался от своей тактической мысли, от своего детища, которое вынашивал так долго, руководясь опытом своих и чужих боевых действий.

— Алексей Алексеевич, — прошу не принимать этого за мое личное вмешательство, этого желает государь, чтобы вы сосредоточили свой удар в одном месте, а не разбрасывались по всему фронту, — кричал Алексеев, отчетливо произнося слова.

Как ножом по сердцу, ударили эти слова Брусилова! Менять всю тактику наступления, назначенного через несколько часов, на рассвете следующего дня, — что это такое было: самодурство царственного невежды в военном деле? Явное желание оттянуть срок наступления, так как произвести новую перегруппировку войск для удара в одном месте нельзя было даже и за несколько дней? Может быть, тут-то именно и вмешалась роковая женщина с ее брезгливыми ко всем русским усилиям глазами? А может быть, это про-

сто нажим Куропаткина на своего бывшего подчиненного, хозяина Ставки?..

— Прошу меня сменить! — прокричал в телефонную трубку Брусилов.

— Что вы такое говорите? — испуганным тоном отозвался ему Алексеев.

— Прошу его величество сменить меня, если мой план ему негоден! — повысил голос Брусилов. — Сейчас же сменить, сейчас же!

Очевидно, и резкий тон, и смысл сказанного Брусиловым ошеломили Алексеева, — этого-то он во всяком случае не ожидал от человека, так умевшего владеть собою, как Брусилов, насколько он был ему известен.

— Что вы, что вы, Алексей Алексеевич, как так сменить вас, — успокойтесь! Речь идет ведь не о вас совсем, а о системе действий, — заговорил Алексеев как будто даже испуганно. — Несколько дней еще большой разницы не составит, — а зато испытанный уже прием удара в одном месте принесет большие результаты.

— Испытанный кем? Противником, у которого транспортные средства вчетверо больше наших? — кричал в ответ Брусилов. — Да пока я успею перевести дивизию, он переведет пять, если не шесть, и все наступление пойдет прахом! Сейчас он не знает, где будет нанесен ему удар, и даже я сам этого не знаю — где удастся! А начни я перегруппировку, — для него все карты будут раскрыты!.. В одном месте? К этому месту он и стянет пятерные силы против моих!.. Нет, я вижу, что мне не суждено ничего сделать, нет!.. Прошу меня сменить! Доложите верховному главнокомандующему, что я прошу заменить меня кем угодно, хотя бы генералом Эвертом!

— Я не могу сейчас ничего докладывать верховному: он лег спать, — ответил Алексеев, — а вы все-таки подумайте, Алексей Алексеевич.

— Зато я не сплю и не могу спать, когда у меня все готово и все на своих местах! И мне не о чем думать, — и сон верховного меня не касается, — раздражаясь до предела, кричал Брусилов. — Прошу доложить немедленно, чтобы меня сменили!

— Ну, что вы, что вы, как же я могу его будить ради этого, — примирительно уже заговорил Алексеев и закончил вдруг: — Ну, бог с вами! Делайте, как задумали сделать, — желаю успеха! И да поможет вам бог!

Алексеев был человек религиозный, и бога призвал он к концу разговора не зря. Он знал, что и Брусилов был человек тоже религиозный, хотя и оказался излишне горяч и несдержан.

4.

Но если горяч оказался Брусилов, то потому только, что слишком холодна была Ставка. Да и что могло загореться в ней, если верховный главнокомандующий являл собою образец превосходной воспитанности, то-есть, невозмутимости? И для чего же торчали в Ставке вместе с ним все эти Фредериксы, Воейковы, Долгоруковы, Граббе и прочие, как не для того, чтобы Ставка имела вид невозмутимого царскосельского дворца в миниатюре?

Если исконный, вошедший в дворцовый ритуал, обряд христосования на пасху царя с «народом» производился ежегодно во дворце, то разве он мог быть отменен в Ставке? И 10 апреля царский скороход (совершенно, кажется, ненужная должность в век телеграфа, телефона, автомобилей и самолетов!) по заранее составленному списку выкликнул в Ставке фамилии лиц, допущенных к христосованию с царем. Тут были и генералы, и офицеры Ставки, и духовенство, и придворные служители, и служители гаража, и рабочие гофмаршальской части, и администрация императорских поездов, и иностранные военные агенты, и певчие штабной церкви, и вся почтовая контора при штабе, и моголевский губернатор Пильц.

По мере того, как их выкликали, они выстраивались и шли в затылок к царю в его обеденный зал. Царь стоял там около стола с горою фарфоровых яиц разных цветов, с его вензелем и украшенными лентами. Генералам и офицерам при христосовании он подавал еще руку. — остальных же только слегка касался

губами ли, бородкой ли, вообще касался, — и каждому подавал фарфоровое яйцо. Разумеется, о каждом из попавших в список скорохода было заранее известно, не болен ли он чем-нибудь неподходящим для такого торжественного обряда.

На другой день обряд был продолжен и для войск, несущих наружную и внутреннюю охрану Ставки, причем предварительно все офицеры и солдаты должны были пройти через медицинский осмотр.

Но если пасха бывала только раз в году, то ритуал каждого дня, сложный и затруднительный для непривычных, не изменялся, как бы ни менялось положение на фронте. И если в основные понятия царской Ставки вошло такое новое понятие, как «прорыв», то оно уж и должно было держаться прочно, как христосование царя с «народом», а не заменяться по своеволию одного из высших генералов чем-то совсем небывалым: «прорывами» в нескольких местах! Такой невозпитанности не могли допустить ни министр императорского двора, ни дворцовый комендант, ни гофмаршал, ни даже начальник штаба Алексеев, который, как пасхальное фарфоровое яичко, получил на пасху генерал-адъютантство, причем сам царь преподнес ему два ящика: в одном — золотые аксельбанты, в другом — погонь с царским вензелем.

Благодаря тому, что верховным главнокомандующим был сам царь, Ставка жила своею жизнью, а фронт — своей, и даже Алексеев, замечал он это или не замечал, безразлично, хотел он этого или не хотел, становился понемногу придворным.

Удар, который готовил Брусилов, был направлен на Луцк, чтобы приковать к этому участку своего фронта, смежному с Западным фронтом, дивизии противника и этим дать возможность вернуться во всю мощь Эверту, с его тяжелой артиллерией и громадными людскими силами.

Когда Брусилов попытался обратиться как-то в Ставку с требованием дать ему еще хотя бы один только корпус,

он получил отказ: Алексеев мягко, но решительно ответил: «Все, что у нас есть, отправляем на Западный фронт». Это значило, что даже и против своей воли, но именно Эверт был избран в спасители России. Так приходилось на него смотреть и Брусилову, которому давалась только подсобная роль.

Против Лудка должна была действовать стоявшая на этом участке восьмая армия с Калединым во главе. Но была еще задача, решение которой зависело от другой армии: нужно было вывести из выжидательного состояния Румынию и притянуть к себе крупным успехом. По соседству с Румынией стояла девятая армия, — она-то и должна была одержать этот успех; задачи седьмой и одиннадцатой армий сводились только к тому, чтобы подпирать девятую и восьмую.

Но саперные работы кипели на всем фронте. Размякшая весенняя земля была податлива для саперных лопат, — старинная русская земля, воспитанная еще в «Слове о полку Игореве». В разных местах, чтобы сбить противника с толку и запутать, рылись окопы в направлении к неприятельским позициям, подходя кое-где к ним уже всего только на полтора-два шага, чтобы накопить в них пехоту, необходимую для штурма укреплений, когда они будут разгромлены артиллерийским огнем. Каждый солдат понимал, зачем он копал подходы к врагу, вдыхая волнующий землеробов запах сырой земли. Бесчисленные ходы сообщения связывали передовые линии окопов с тылом: огромная армия подбиралась к засевавшей в землю армии врага: это оказался единственный удобный путь.

В тот вечер, когда происходил последний перед началом действий разговор Брусилова с Алексеевым, весь фронт напрягся для прыжка вперед, и в дивизии Гильчевского, назначенной для прорыва против чешской колонии Новины, все было закончено: подтянуты резервы, расставлена артиллерия, устроен для самого начальника дивизии наблюдательный пункт в расстоянии всего лишь семисот шагов от окопов. Плененные 15 апреля мадыарские офи-

церы ахнули от изумления, когда их привели в штаб начальника дивизии, расположенный всего в трех километрах от передней линии укреплений, — теперь им пришлось бы удивиться чудачку русскому генералу гораздо сильнее.

А Гильчевский весь полон был подмывающей гордости оттого, что его ополченскую дивизию командующий восьмой армией Каледин поставил в ряд с двумя боевыми кадровыми дивизиями: четырнадцатой, с ее полками Волынским, Минским, Подольским, Житомирским, прогремевшими на весь мир еще во времена Крымской кампании, и четвертой стрелковой, «железной» дивизией, покрывшей себя славой в русско-японскую войну. Могло показаться, что исторические традиции стойкости русских войск как бы непосредственно впитали четыре полка с новыми для военного слуха именами: Карачевский, Усть-Медведицкий, Вольский, Камышинский.

Усть-Медведицкий полк, 402-й, в котором командиром был Кюн, неравнодушно относившийся к выстрелам даже своих пушек, наряду с другими готовился к необычайному. Офицеры писали письма своим близким, прощаясь с ними на всякий случай; иные составляли духовные завещания.

Ливенцеву нечего было завещать и некому. Его старая мать, которой он посылал ежемесячно часть своего жалованья, должна была как-то одна перебиваться, если ему суждена была смерть, и она знала это. Она жила в Орле на Садовой улице. После каждого получения от него денег она неизменно справлялась письмом, не обижает ли он себя самого, — что-то уже очень расщедрился, а к чему? И добавляла: «Мне-то ведь, старухе, немного надо, а тебе деньги гораздо нужнее, — у тебя товарищи: тот придет в гости, — угощай; тот придет займы просить, — дай, а на позициях жизнь, это уж всем известно, очень дорогая...»

К пасхе от нее получилось письмо с поздравлением, но пришло также письмо и от Натальи Сергеевны, пахнувшее духами л'ориган. От нее же передали ему письмо в штабе полка и 20 мая, и

он держал его в кармане гимнастерки нераспечатанным. У него, человека энергичного, знающего себе цену, была такая маленькая странность — не спешить знакомиться с письмом человека, которого он любил. Письмо здесь, — вот оно, здесь, ближе к сердцу, чем что-либо другое. Меня помнят, обо мне думают, — и вот доказательство этого — письмо в закрытом конверте. Милым твердым почерком, крупными буквами в нем может быть написано и то, и другое, и третье. Ну, а вдруг написано совсем не то, чего бы мне хотелось, или не так выражено, не теми словами? Это письмо — слишком дорогой подарок, чтобы в нем обнаружился вдруг какой-нибудь изъян. И когда же? Как-раз тогда, когда здесь совершается такое, совершенно ведь невидное из Херсона напряжение огромнейших сил, о котором будет сказано в телеграммах мертвыми казенными словами: «Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление». Наконец, что бы ни было написано в этом письме, пусть оно звучит в душе только, как пароль — «Россия». Впереди — позиции противника, укрепившиеся им всеми средствами техники в течение долгих девяти месяцев и потому признанные знатоками этого дела совершенно неприступными; рядом — смелое желание сотен тысяч людей русских переступить через них, а позади — золотонивая, голубонебая Россия.

Глава седьмая

НАЧАЛОСЬ

1.

Когда, год спустя, в 1917 году англичане готовили атаку немецких позиций на Ипре, они выпустили для этой цели четыре с половиной миллиона снарядов стоимостью в 22 миллиона фунтов стерлингов, т.е. 220 миллионов рублей золотом, или около того. Вес этих снарядов был равен 107 тысячам тонн. Для доставки их из Англии на материк нужно было пустить 27 судов по 4 000 тонн водоизмещением каждое, а для подвоза с берега к линии фронта — 36 тысяч трехтонных грузовиков.

Когда генерал Макензен в 1915 году осуществлял свой прорыв на Карпатах, на фронте третьей армии русских войск, его артиллерийская фаланга развивала огонь такой силы, что на два погонных метра фронта приходилось 43 снаряда.

О таком поражающем воображение богатстве снарядами не мог и мечтать Брусилов, когда разослал своим командирам приказ начать бомбардировку австро-венгерских позиций на рассвете 22 мая (4 июня), и все же внушительность начавшейся канонады явилась совершенно неожиданной для австрийских и германских генералов.

Всего за неделю до того совещались два союзных главнокомандующих — Конрад фон Гетцендорф и Фалькенгайн, не опасно ли будет снимать с русского фронта большое число дивизий для переброски их на итальянский фронт, и первый убедил второго, что никакой опасности нет и быть не может, что без тяжелой артиллерии было бы безумием со стороны Брусилова пытаться прорвать неприступные позиции, а чтобы подвести тяжелые орудия в достаточном числе, а также снаряды к ним, русским при их отвратительных дорогах требуется не меньше месяца, — время вполне достаточное, чтобы совершенно разгромить итальянцев.

Гетцендорф был так увлечен своим проектом натиска на Венецию из Тироля через плоскогорье Азиаго, что сумел убедить Фалькенгайна в полной безопасности этого шага, давшего уже с первых дней наступления большое количество пленных и трофеев и сулившего полный успех.

Фалькенгайн не выдержал роли строгого опекуна и развязал руки Гетцендорфу. Несмотря на то, что местность, по которой шло наступление, была высокогорная, покрытая снегом, что затрудняло военные действия, австрийские войска, окрыленные удачами, рвались преследовать отступающих итальянцев, — оставалось только поддерживать их пыл новыми и новыми частями: любая армия наступает стремительно, если перед ней бежит противник и о ней забывается начальство.

Победы в Италии приказано было праздновать на австрийских позициях как-раз 22 мая (4 июня), слив этот праздник с торжеством по случаю дня рождения австрийского эрцгерцога Фердинанда, командующего четвертой армией, которую била Брусиловская восьмая армия в предыдущем году.

Очень кстати оказался, таким образом, салют огромного числа русских орудий, — среди которых, вопреки уверениям Гетцендорфа, были и тяжелые, — раздавшийся на фронте в четыреста километров почти одновременно на рассвете: трудно было бы придумать лучшее начало для празднования побед в Италии, с одной стороны, и для рождения одного из членов австрийского императорского дома — с другой.

Когда начинают свой разговор тысячи орудий, далеко разносится он по земле: салют эрцгерцогу Иосифу-Фердинанду слышала вся Подолия, слышала вся Волинь, слышали Карпаты, Галиция, Буковина, Румыния, а скоро услышали его в Вене и Берлине.

Это была торжественная увертюра к тому, что потрясло основы одной из старейших монархий Европы, решительно повернуло лицо победы в сторону держав Антанты и могло бы привести к полному разгрому Австро-Венгрии летом, если бы Ставка с царем во главе так же поверила в русского бойца, как поверил в него Брусилов, и дала бы тому, кто хотел наступать, а не тем, кто решил, как Эверт и Куропаткин, отсидеться, все средства к наступлению.

Западный и Северо-Западный фронты считались Ставкой важнейшими, так как они прикрывали Москву и Петроград, что же касалось Юго-Западного, прикрывающего Киев и Одессу, Украину — житницу России, с ее криворожской рудой и донецким углем, — то он считался второстепенным.

Эта предвзятость привела к тому, что обделенный тяжелой артиллерией, без которой нечего было и думать о прорыве укреплений, имевших накатники в 6—7 рядов толстых бревен, присыпанных слоем земли в несколько метров толщиной, а где и бетонных, с рельсами вместо бревен, — Брусилов вынужден был

перебрасывать тяжелые мортиры не только из одного корпуса в другой, которому давалась ударная задача, но даже из одной армии в другую.

И все-таки к началу бомбардировки австро-германцы семидесяти брусиловским тяжелым орудиям и мортирам могли противопоставить сто шестьдесят, — важно было только то, что внезапность русского огня не дала времени их сосредоточить именно там, где оказалось нужней и важней. Случилось то, на что надеялся Брусилов, открыто ведя саперные работы, как подготовку к наступлению, во многих местах своего фронта.

Для многих австрийских генералов неожиданным оказалось и то, что сила русского огня не только не слабела с часами, напротив, росла. За первыми выстрелами следили с наблюдательных пунктов и, только убедившись, что снаряды ложатся в намеченные цели и производят там, у противника, ожидаемый вред, учащали пальбу.

Расстояние между окопами местами доходило до трехсот, а где даже и до ста шагов, что позволяло австрийским солдатам во время пасхи выкрикивать поздравления с праздником.

Теперь поздравляли минами и бомбами из минометов и бомбометов, причем минометов было больше у австро-германцев, бомбометов оказалось больше в русских окопах.

В апреле, в двухдневных боях у озера Нарочь, на Западном фронте впервые в ту войну были введены и только-что изобретенные немцами огнеметы, но на брусиловский фронт они еще не успели попасть.

Дивизия Гильчевского была отведена для прорыва участка в две версты; два полка — Карачевский и Усть-Медведицкий — готовились идти на штурм позиций противника, когда артиллерия продолбит для этого проходы в густой сети проволочных заграждений, ежей и рога-ток, которым не причинили вреда даже и пироксилиновые шашки саперов, подползавших к ним ночью перед началом канонады.

Когда Гильчевский услышал утром о неудаче саперов, он горестно прокричал

рядом с ним стоявшему своему начальнику штаба:

— Пи-ро-кси-лин не взял, — шутка, а? Вот так гадюки!.. А давно ли ножницами нас заставляли проволоку под огнем резать, да и тех не давали, сколько требовалось, подцефы! Уйму народу зря из-за этого положили!

Он был взбешен еще дня за два до этого и все никак не мог успокоиться: командир корпуса Федотов взял у него один полк — 404-й Камышинский — и передал его в другую свою дивизию, 105-ю, хотя она и не была ударной. У него осталось только три полка и на одну батарею меньше, чем было, — он чувствовал себя ограбленным как-раз тогда, когда от него требовалось напряжение всех сил.

У него оставалось двенадцать гаубиц и пятьдесят пушек, из которых японские стреляли шимозами, дававшими слабый разрыв. Хотя Камышинский полк увез с собою тоже японские пушки, но рачительному хозяину, каким был Гильчевский, все-таки было их до боли сердца жаль, и время от времени, когда ему казалось, что работа его артиллерии слаба, он принимался ругать Федотова, оставшегося и теперь в тридцати верстах от фронта.

Все рвалось, грохотало, гремело и впереди, и позади, и около его наблюдательного пункта; кроме орудий, еще и бомбометная батарея, стоявшая между первой и второй линиями окопов Карачевского полка, старалась расширять проходы.

Но если огонь противника был гораздо более беспорядочным, зато там не жалели снарядов, и гаубичный дивизион 101-й бригады глушил батареи гонведов. Гильчевский знал, что против его дивизии стояли 38-й, 68-й, 79-й и 21-й полки мадьяр, из которых один был уже обескровлен наполовину в середине апреля, но вновь пополнен, а командир гаубичного дивизиона, старый кадровик полковник Давыдов, знал расположение батарей этих полков, поставив в новые укрытия незадолго перед днем атаки свои батареи.

Как дирижор огромного оркестра, впитывал и отражал Гильчевский в порыв-

вистых движениях, в остром блеске горевших глаз, в мимике подтянувшегося сероусого лица разрушительную музыку своих орудий. Он различал действия своих донцов и туркестанцев с их горными пушками и не раз выкрикивал: «Ого, молодцы, донцы!... Так-та-ак, туркестанцы!» и кричал на ухо полковнику Протозанову:

— Что бы мы делали, если бы их нам не прислали, а? Наши чортовы шимозницы ни-ку-да!.. А донцы-то, донцы-то прямо конфетки, а не донцы! Так и чешут!

Однако шли часы непрерывной пальбы, — на батареях обедали поочередно, — стало уже тускнеть солнце, но, как ни чесали, всей гушины чересчур щедро разросшейся всюду колючей проволоки прочесать не могли, насколько хотелось; местами были просто поля проволочных заграждений шириною в сотни шагов, где предполагал Гильчевский и заложженные фугасы.

— Артиллерия должна сделать свое дело на совесть, чтобы не подвести под монастырь пехоту, — говорил он. — Пехота пойдет безотказно, а если она на фугасах взорвется, кто перед нею будет ответчик? То-то и есть!

Ответчиком за все скверное, что могло случиться с его полками во время штурма так старательно, тоже вполне «на совесть» укрепленных позиций он считал только самого себя, поэтому был осторожен, как никогда раньше.

Снаряды гаубиц громили легкие батареи мадьяр, проламывали, долбя раз за разом в одно и то же место, бетонированные своды блиндажей. Видно было, как взлетали там на воздух разные обломки вместе с фонтанами сырой земли. Снаряды забирались и в «лисы норы», выкуривая оттуда врагов. Рассчитанно действовали донцы, туркестанцы и его дивизионные испытанные наводчики скорострельных японских пушек; проходы ширились, однако наступал уже вечер этого громогласного дня, а Гильчевский не давал еще сигнала к атаке.

— Утро вечера мудренее, — сказал он Протозанову. — Ночью пусть люди

спят, и нам с вами это тоже не помещает.

— А чтобы мадьяры ночью не заплели проволоку, нужно бы продолжать обстрел, — возразил Протозанов.

— Не заплетут, врут, не заплетут! — подмигнул ему Гильчевский. — А для остратки — редкий огонь по проходам и осветительные снаряды из трехдюймовок, — и всё! Что они могут сделать при таком наблюдении? Рогатки поставить? Утром мы эти рогатки расшибем к черту и пойдем к ним с визитами. Все устали, все мало-мало оглохли, — пусть спят!

— Подкрепления подбросят за ночь, Константин Лукич, — сказал уверенно Протозанов, но Гильчевский отозвался на это бодро:

— Если у них они есть, — милости просим! — Лучше увидеть их завтра, чем послезавтра.

2.

Приведя в действие большие силы, каких никогда до этого не было под его начальством, Брусилов в штабе, в Бердичеве, не мог, конечно, чувствовать себя спокойным и вполне уверенным в успехе, особенно на фронтах одиннадцатой и седьмой армий, где он за полнейшим недостатком времени не успел даже и побывать.

Он не был по натуре сухим человеком. Он всегда склонен был верить в приметы, отыскивать таинственное и непостижимое в жизни, одно время даже увлекался спиритическими сеансами, которые были в моде во второй половине прошлого века.

Теперь он мог бы назвать себя пифагорейцем: он стал себя чувствовать во власти магии чисел. Отлично изучив по карте фронта расположение частей своей бывшей восьмой армии, он изучал также соотношение сил своих и австро-германских на фронтах — Сахарова, Щербачева, Лечицкого и еще перед началом наступления говорил в штабе:

— Да, вот видите, как вышло, господа: оказывается, наше превосходство в силах над противником сводится к пустякам, — сто с чем-то тысяч всего на четыреста верст по линии фронта! Ведь

это совершенно ничтожно для наступающего на такие крепкие позиции... А вот Эверту создают тройное превосходство в силах! У нас едва набирается двадцать процентов перевеса, а у него целых триста!.. Да, плохо, плохо быть папынком даже и среди главнокомандующих!.. Конечно, мы не старшие козыри в игре, однако же с нас начинают игру, а мы... всё ли мы подсчитали как следует?

И подсчеты людей, орудий, пулеметов, снарядов, патронов, лошадей, повозок и прочего начинались в штабе снова.

В день, назначенный для открытия бомбардировки по всему фронту, уже не занимались подсчетами, а ждали телеграмм от командующих армиями.

Важнейшая задача прорыва была оставлена за восьмой армией, которая, соответственно задаче, была и сильнее остальных, вобрав в себя больше трети всех сил Юго-Западного фронта, — пять пехотных корпусов и один конный.

Ей приказано было Брусиловым действовать путем штурма не раньше утра на второй день бомбардировки, так что ожидать донесений об успехах или неуспехах пехоты можно было из других армий, и первая радостная телеграмма пришла в полдень. Генерал Сахаров доносил, что его 6-й корпус прорвал фронт противника в назначенном для того месте, захватил одну из командующих над его позициями высот и закрепился на южном скате другой высоты.

За этой радостной вестью часа через два пришла и другая от того же Сахарова: второй его корпус — семнадцатый, который, как знал Брусилов, должен был только содействовать шестому, в свою очередь прорвал позиции австрийцев против деревни Сопаново.

— Вот видите, вот видите, как! — ликовал Брусилов, впиваясь глазами в карту-верстовку.

— Странно только, что против Сопанова, а не против Богдановки, — заметил на это Клембовский, хорошо помня, что семнадцатому корпусу предписано было действовать против Богдановки, а Сопаново называлось только на всякий случай.

Но Брусилов тоже помнил все эти деревни, против которых готовились плацдармы.

— Да, да, — Богдановка, совершенно верно, — но успех-то, успех ожидал нас у Сопанова, — в этом все дело! — объяснял он оживленно своему начальнику штаба, доставшемуся ему в наследство от Иванова. — В этом только и состоит вся суть моего плана!.. Умница комкор Яковлев решил, значит, против Богдановки, где его ждали, устроить только демонстрацию, а ударить по-настоящему от Сопанова, — вот и все, — и получился успех! А между тем, — вы ведь знаете это, — сам же Сахаров в Волочишке на совете заявлял, что успеха не ожидает!

— Не рано ли все-таки он пустил пехоту, Алексей Алексеевич? — раздумывал, глядя в ту же карту, Клембовский. — Артиллерия у него не так сильна, особенно в шестом корпусе... да и в семнадцатом тоже. Не погорячился ли Гутор, вот чего я боюсь!

Генерал Гутор был командир шестого корпуса, только-что оправившийся от тяжелой раны и как-раз накануне наступления, 21 мая, вновь принявший свой корпус.

— Да ведь что же Гутор? Он ведь боевой генерал, а не штабной, и свой корпус знает, и позиции немцев знает, — вступился за Гутора, известного ему еще до войны, Брусилов.

— Но ведь против него немцы, а не австрийцы, и командующие высоты, а не ровное место и даже не лес, как против Яковлева.

Брусилов знал, конечно, что против шестого корпуса стояла часть Южной германской армии генерала Ботмера, — именно две дивизии — 32-я и 29-я, — что командующие над всей местностью там высоты — 369, 389, 390 — были чрезвычайно сильно укреплены за девять месяцев упорно сидевшими там немцами, знал и то, что артиллерия шестого корпуса слаба, как и всей армии Сахарова, — ведь несколько батарей тяжелой артиллерии он сам приказал передать оттуда в восьмую, ударную армию.

— И артиллерия слаба, и корректировать стрельбу по второй линии немецких укреплений нельзя без аэроплана, — однако же вот держатся в занятых окопах, — молодцы! — скорее подбадривал самого себя, чем понимал причины успеха Гутора и верил в его прочность Брусилов. — Да, наконец, ведь задача всей армии Сахарова только завязать дело, задача вполне второстепенная, — оттянуть на себя резервы армии Бем-Ермоли, а завтра ударит восьмая, и это уж будет настоящий удар.

Армия генерала Бем-Ермоли была австрийская, расположенная севернее армии Ботмера, против восьмой русской.

Телеграммы шли за телеграммами, — сплошной поток телеграмм — но из седьмой от Щербачева и из девятой — от недавно вступившего снова в ряды несущих службу командармов Лечицкого — телеграммы касались только работы легкой артиллерии, пробивавшей проходы в проволоке, и тяжелой, долбившей вторые линии укреплений и уничтожавшей неприятельские батареи.

О том же самом доносил неоднократно и начальник штаба восьмой армии генерал Сухомлин. Брусилов замечал за собою, что все донесения Сухомлина, с которым работал он последние месяцы перед назначением главнокомандующим, его особенно волновали, хотя они пока касались только подготовки к атаке пехоты: отделаться от пристрастия к делам своей бывшей армии он все же не мог.

Однако день 22 мая был днем начала наступления, и начинала сбивать врага с давно насыженных им мест одиннадцатая армия, а не восьмая.

— Доброе начало — половина дела, доброе начало — половина дела, — механически повторял Брусилов, внимательно между тем слушавший и просматривавший сам телеграммы и Сахарова, и непосредственно обоим комкорам — Яковлеву и Гутору.

Корпус Яковлева — семнадцатый — был временно взят в одиннадцатую армию из восьмой и примыкал к левофланговому корпусу восьмой армии, — 32-му, — поэтому действия Яковлева занимали большую часть интересов Брусилова по

сравнению с действиями Гутора. Но корпус Гутора стремился пробить брешь в наиболее сильных позициях на всем фронте одиннадцатой армии, притом в позициях, защищаемых германцами. Атака шестого корпуса шла на Воробьевку, Глядки, Цебрув, но от этих галицийских деревень очень далеко было до армии кронпринца, осаждавшей Верден, однако удар здесь был направлен против нее: били здесь, чтобы облегчить положение французов под Верденом, дивизии которых с тупой методичностью перемалывались артиллерией германцев; били здесь, чтобы оттянуть силы, таранящие Верден, на себя. Это была жертва на общий алтарь европейских жертв и вместе с тем это был вызов Эверту: против шестого корпуса, как и против всего почти его фронта, стояли одни и те же германцы, которые, по убеждению Эверта, были неодолимы.

Одна из телеграмм-донесений особенно волновала Брусилова. Сахаров донесил, что, по показаниям пленных немцев, им было известно, что наступление не только готовится против линии укреплений на высотах 369, 389 и 390, но и начнется не раньше, не позже, как 4 июня (22 мая), поэтому у них все было готово к достойной встрече русских.

— Что они знали о наступлении, это понятно: такого шила в мешке не утаишь, но откуда они могли узнать заранее о дне наступления? — недоумевал Брусилов и вспоминал любознательность царицы, но Клембовский отнесся к этому проще, — он сказал, вздохнув:

— Повидимому, это только объяснение неудачи, постигшей Сахарова, о которой сообщено им будет несколько спустя.

Действительно, несколько спустя пришло донесение о больших потерях шестого корпуса. Боевые полки 16-й дивизии — Владимирский и Казанский — держались в занятых ими укреплениях, но им пришлось выдержать несколько контратак противника, которые нечем было отбивать, кроме как ружейным и пулеметным огнем, для чего уже теперь,

в самом начале дела, не хватало патронов.

Артиллерия оказалась не в состоянии успешно бороться с многочисленной артиллерией врага. Кроме того, складки местности на высотах так укрывали неприятельские батареи, что наши наводчики не в состоянии были их нащупать. Змейковые аэростаты ничуть не помогли делу: во-первых, они не могли подняться выше, как на двести метров, откуда ничего не было видно: во-вторых, их так раскачивало ветром, что наблюдатели заболели морской болезнью и сделались вообще ни к чему не пригодны.

В 17 часов (суточный счет часов был введен в Ставке в ночь с 3 на 4 апреля) пришло донесение из штаба восьмой армии, что особая группа генерала Зайончковского двинулась в наступление на штурм германских позиций у деревни Черных, но вслед за тем новое донесение обрисовало этот штурм, как неудачный: он был отбит с большими потерями для частей 30-го корпуса, виною чему была плохая артиллерийская подготовка.

Брусилов встретил это донесение спокойно.

— Что из того, что отбит первый штурм? — говорил он. — Первый не удался, — второй удастся. Зато немецкие резервы не пойдут оттуда на юг и не помешают 32-му корпусу и восьмому прорваться на Луцк и Ковель. Хорошо сделал Зайончковский, что выступил вовремя; и раньше выступить было бы хуже, и позже еще хуже. А немецкие резервы припаяны теперь к Черным, — кончено!

Он не хотел допускать и мысли, что на его фронте, на который смотрят теперь злорадно Эверт и Куропаткин, скептически Румыния, с надеждой отчаянья Италия, с проблеском надежды Франция и с верой истстрадавшаяся за 22 месяца войны Россия, может провалиться все начатое им большое дело в самом начале.

Он пил крепкий чай, курил папиросу за папиросой и вчитывался в подносимые ему телеграммы, всем существом

стремясь найти в них что-нибудь радостное.

Но через час, — это было уже совсем к вечеру, — донесения рисовали картину еще более безотрадную: противник, не считаясь с числом расходуемых снарядов, развил ураганный огонь по занятым владимирцами и казанцами окопам, не переходя в атаку, и таким образом создает большие затруднения, даже полную невозможность в деле поддержки наших бойцов, несущих большие потери.

— Это уже похоже на то, что было в марте и апреле у Эверта, — сказал Клембовский.

— Нет, не похоже, нет, — вскипел Брусилов. — Генерал Гутор прекрасный корпусный командир, но... Но он только вчера вернулся в корпус свой из госпиталя, — вот причина! Подготовка велась без него, — вот!.. Кто ее вел? Как ее вел? — Вот где причина! Говорится: без хозяина дом — сирота, — так и это. Нужно телеграфировать Сахарову: «Завтра с утра во что бы то ни стало занять на участке шестого корпуса обе главные высоты — 389 и 390, для чего ночью произвести перегруппировку артиллерии и подготовить к атаке части 4-й дивизии».

Записав сказанное, Клембовский вспомнил о высоте 369.

— На высоте 369 тоже ведь положение трудное, Алексей Алексеевич.

— Ну, вот и добавьте об этом: «16-й пехотной дивизии расширить плацдарм на высоте 369, оставив при этом только один полк в корпусном резерве».

Заметив некоторую нерешительность на нервном лице Клембовского, записавшего и это добавление к приказу, Брусилов спросил резко:

— Что вы хотите мне сказать?

— Неизвестно, как велики потери шестого корпуса теперь и насколько их будет больше к ночи, Алексей Алексеевич, — осторожно выбирая слова, ответил Клембовский. — Вдруг эти потери уже сейчас доходят до численности целого полка?

— Вы так думаете?

— Это вполне возможно... А к ночи там, может быть, потеряют еще два ба-

тальона, раз наша артиллерия не может соперничать с неприятельской.

Брусилов раза два прошелся по кабинету, остановился у окна и сказал, не поворачивая головы:

— Добавьте в таком случае: «Исполнение по усмотрению командира корпуса».

3.

В штабе Брусилова, как и в штабах всех четырех командармов, писались и оттуда сыпались на линию фронта телеграммы с приказами ясными, категоричными и очень требовательными к людям. Все было рассчитано, — магия цифр и чисел владела всеми, — не было только предусмотрено такой досадной мелочи — дождя, а дождь, сильный весенний дождь, притянутый дневной канонадой, хлынул как-раз ночью, когда нужно было совершать перегруппировку войск и передвигать артиллерию.

То, что действительно могло быть сделано за ночь в сухую погоду, при напряжении всех сил не успели сделать под дождем, когда глубоко размок и без того сыроватый грунт, когда за сплошной сеткой споро падавших крупных капель люди даже и в трех шагах перестали что-нибудь видеть, точно заболели куриной слепотой.

Кроме того, не в одной ведь дивизии Гильчевского, а во всех дивизиях одно и то же: не солдаты, а народ, одетый в серые шинели. Народ же этот был разный, и чем только он ни занимался до войны!

Крестьяне и рабочие городов, попав в армию, проходили, конечно, и военный строй, и стрельбу из винтовок, но неискоренима была в них привычка отдыхать в то время, когда работает дождь. Так что даже и здесь, на фронте, за несколько часов до боя, когда тысячам из них грозили смерть или увечье, многие не хотели понять, что дождь ли, грязь ли, ночь ли, а работать надо: им все казалось, что это как-то не по закону с них требуют.

К утру, впрочем, дождь перестал.

Четвертый батальон 402-го полка продолжал оставаться в резерве, но был

предупрежден все-таки, что, как только пойдут на штурм первые два батальона, он должен быть готовым по команде немедленно двинуться по ходам сообщения вперед в определенном порядке.

Готовиться к возможной смерти и не прочитав письма, — может быть, последнего письма! — от любимой женщины было невозможно, конечно, и Ливенцев нашел время уединиться с письмом утром и вскрыл конверт. И только когда вскрыл его, осознал, почему все откладывал это; он понял, что боялся каких-нибудь не тех ее слов, не тех ее мыслей даже, таящихся между строчек письма, — боялся какого-нибудь разительного несоответствия ее мира с тем, который окружает его; но с первых же строк письма увидел, что напрасно боялся.

Письмо Натальи Сергеевны началось с того, чем иная на ее месте могла бы закончить:

«Храни вас бог! Благословляю, целую!»

Он остановился на слове «благословляю». Почему «благословляю»? Не иначе ли как-нибудь? Может быть, «обнимаю»? Но почерк четкий, буквы крупны, — не «обнимаю», а действительно «благословляю»... Это наполнило его тою торжественностью, какая была, несомненно, в ней, когда она писала, и дальше он читал уже без опасений и с огромным вниманием к каждому ее слову, как будто она была рядом и он ее слышал:

«Мне было очень тревожно за вас все последние дни. В газетах так много пишут страшного, а говорят люди еще больше. Мы все живем для лучшего будущего, конечно, но хотелось бы все-таки, чтобы оно настало, не требуя от нас такой слишком дорогой цены. Если за него придется отдать все, что еще осталось у нас, тогда зачем нам и это лучшее будущее? Тогда, значит, мы его просто-напросто недостойны и напрасно его добиваемся. Если к лучшему будущему приходится делать прыжок через такое море крови, то можно ведь и не перепрыгнуть, а утонуть, — то-есть, я хочу сказать... утонуть всем лучшим, что у нас есть, и что же тогда останет-

ся? Вы меня умнее, и вам виднее там, на месте, где творится наша новая история, какими средствами она творится и какими именно людьми. Не обо всем можно писать, вам известно это, не все бумага терпит, но мне хотелось, чтобы с вами лично ничего плохого не случилось. Говорят и пишут, что летом должны начаться на фронте какие-то большие события, — они и начнутся, конечно... Я не пишу вам: «Не сдавайтесь в плен!» — Я знаю, — вы и так не сдадитесь. Но мне бы хотелось, чтобы у вас были хорошие начальники, чтобы они знали, что надо делать, чего нельзя. Это ведь не так много я хочу, не правда ли? Ведь я имею право этого хотеть?.. Жду от вас письма. Пишите мне каждый день, если можно, хотя бы по два слова только! Н. Веригина».

Ливенцев украдкой поцеловал письмо, тут же написал на клочке бумаги «Жив — здоров», подписался, надписал на обороте адрес Натальи Сергеевны и сунул клочок этот в карман, так как не знал, кому передать его. Трудно было и знать это перед боем, который мог вырвать из списка живых кого угодно.

Артиллерия уже гремела, подготавливая бой.

Перед позициями 401-го и 402-го полков стояли две высоты — 100 и 125 метров, — на них-то и были расположены мадьярские окопы. Но если к окопам первой линии почти вплотную подобрались в земле русские окопы, то вторая линия укреплений была запрятана за гребни высот. Аэроплан поднялся было, чтобы корректировать стрельбу тяжелых батарей по второй линии, но, обстрелянный, быстро улетел в тыл.

За ночь всюду в пробитых проходах мадьяры успели понаставить рогаток, но горные и легкие орудия, а также бомбометы очень быстро разметали эти препятствия.

Гильчевский с Протозановым с раннего утра были уже на наблюдательном пункте и видели, как тяжелые снаряды мадьяр ищут батареи, переставленные все-таки ночью, несмотря на дождь и грязь, — ищут ревностно, однако неудачно. Но снаряды падали и в пере-

довые окопы обоих ударных полков, и это обеспокоило Гильчевского.

Начало штурма было назначено командармом в девять часов. Гильчевский решил применить хитрость: ввести в заблуждение солдат противника прекращением огня и заставить их выскочить из окопов для отражения штурмующих штыками, а в это время накрыть их новым градом артиллерийских снарядов и тем обеспечить дело штурма.

Но вышло не так, как ему представлялось.

Командир 402-го полка Кюн получил этот полк не так давно, — в январе. О том, что у него сильная протекция в Петрограде, Гильчевский знал; что он — исправный службист, это видел; проверить, каков он в деле, не пришлось, не было случая, — и всю зиму и раннюю весну тянулось позиционное сиденье. Если даже и говорил кто-нибудь ему о Кюне, что он не выносит артиллерийской пальбы, Гильчевский принимал это за злую шутку. В первый день канонады не случилось его видеть, а на второй день злополучная нервность Кюна испортила штурм.

Гильчевский приказал прекратить орудинный огонь ровно в половине девятого, а через четверть часа, когда мадьяры выскочат из окопов, чтобы отражать штурм, открыть пальбу снова и продолжать ее до девяти, когда всем батареям умолкнуть.

Этот приказ был передан и командирам полков, но Кюн был точно в столбняке, — так он был оглушон канонадой, — приказа не понял и чуть только упала в половине девятого тишина на окопы, погнал две передовые роты на штурм.

Точнее, его полковой адъютант, — прапорщик Антонов не успел предупредить в этом ставшего совершенно невменяемым Кюна, как удалось ему приостановить движение вперед других ударных рот.

Гильчевский с часами в руках считал минутой, когда должна была вновь открыться пальба по врагу, поддававшемуся на хитрость, как вдруг услышал впереди «ура».

— Что это там такое, что? Кто это? — ужаснулся он, но остановить тех, кто уже бросился в неприятельские окопы, не мог, конечно.

Роты в полном боевом составе, полны высокого боевого духа. Неудержимой лавиной бросились они в проделанные проходы и вскочили в окопы противника, не дав ему времени выбраться оттуда для встречи штурмующих.

У Гильчевского была еще надежда, что окопы мадьяр, быть может, сильно разбиты артиллерией и уже наполовину пусты. В этом он почти убедился, когда вдруг очень быстро по ходам сообщения начали проводить партии пленных. Непредвиденный оборот дела, казалось, обещал удачу, — но следом за пленными кинулись назад остатки рот, так браво бежавших на штурм и оставшихся без поддержки.

Только гораздо позже узнал Гильчевский, что прекрасно построенные окопы врага дали возможность мадьярам оправиться после первых минут растерянности и забросать гранатами с обоих флангов ворвавшихся к ним. Оба командира рот были убиты, роты потеряли управление, и хотя до трехсот человек насчитывалось пленных, но зато и потери рот были не меньше.

Менять данный раньше приказ было нельзя из-за того, что несвоевременно вырвалась вперед часть ударных батальонов двух полков, — четверть часа молчания батарей были выдержаны точно, и началась новая пальба. Она, несомненно, с лихвой отплатила мадьярам, так как кое-где видно было, они все-таки выскочили из окопов, и снаряды накрыли их, пока остатки их успели спрятаться снова.

Гильчевский был очень взвинчен первой неудачей, однако он не знал, что гораздо более крупная неудача ожидала его дивизию вслед за этой, сравнительно мелкой.

Тяжелые батареи, стихнув только на время, чтобы дать этим сигнал к общей атаке, начавшейся точно в девять часов по фронту всех трех ударных дивизий Каледина, перенесли потом огонь на вторую линию австрийских укреплений. Вот тогда-то и ринулись очень дружно

и остальные роты первого батальона 402-го полка, и все роты тоже первого батальона 401, Карачевского.

Гильчевский наблюдал за их действиями, не отрываясь, до боли в глазах, и увидел вдруг то, что им просто не предполагалось даже. Бешеный заградительный огонь открыла австрийская артиллерия, точно заранее ей была известна минута штурма; началась жестокая трескотня бесчисленных пулеметов и, что всего неожиданней вышло, он заметил своих солдат, не только падавших кучами около разорванной проволоки вражеских окопов, но еще и таких, которые вертелись, пылающие, как факелы.

— Огнеметы! — догадался он. — Огнеметы!.. Неужели успели доставить?!

Да, их успели доставить, эту дьявольскую выдумку немцев, принесшую много потерь русским полкам в апреле, на Западном фронте, в боях у озера Нарочь. Для отражения штурма мадьяры выступили во всеоружии. Может быть, канонада предыдущего дня и уничтожила многие пулеметные гнезда, но или их было чрезвычайно много, или на место выбывших появились за ночь новые пулеметы из резерва, только и противоштурмовой и заградительный огонь оказался необычной силы.

Можно было рассмотреть в бинокль, как выскакивали на бруствер своих окопов неприятельские стрелки и расстреливали из винтовок залегших у проволоки солдат обоих полков. Пришлось отдать приказ открыть самую частую стрельбу по этим проклятым окопам, чтобы хотя обеспечить этим отступление в свои окопы тем, кто еще в состоянии был бежать оттуда назад, иначе можно было потерять оба батальона в весьма короткий срок.

И стрельбу подняли сразу из всех орудий, и остатки батальонов отползли к своим окопам, благо не так далеко это было.

Гильчевский приказал немедленно произвести подсчет потерь и когда узнал, что около восьмисот человек погибло за десять-пятнадцать минут, — схватился за голову. Установить точно,

сколько именно было заживо сожженных огнеметами, не удалось: донесли, что несколько десятков человек.

Этот новый вид смерти бойцов на фронте особенно волновал старого командира дивизии. Бросать в атаку очередные батальоны своих ударных полков при такой налаженной обороне неприятельских позиций он не считал возможным. Он телеграфировал в штаб корпуса о своей неудаче, приказал продолжать артиллерийскую стрельбу и уехал в колонию Новины, на свою квартиру совершенно подавленный и расстроенный.

Единственное, что его теперь занимало, это опрос взятых двумя ротами 402-го полка пленных. Так или иначе, но оказалось, что, непредвиденно вырвавшиеся, эти роты сделали хоть что-нибудь, — им помогла именно эта самая непредвиденность, внезапность.

— Так что, если бы их поддержать тогда еще шестью ротами, — говорил дорогой Протозанов Гильчевский, — то, пожалуй, вышел бы толк, а? Но как было знать это? Я хотел сделать лучше, а вышло хуже, а совсем не лучше.

Он ждал, что Протозанов найдет что-нибудь такое, чего не находил теперь он для оправдания своей хитрости, которая послужила на пользу только мадьярам, заставив их подготовиться к штурму за четверть часа передышки. Однако Протозанов, не менее его удрученный неудачей, сказал только:

— Вот показания пленных покажут, как работала наша артиллерия. Ведь только на ее работу и была надежда, а пехота тут не при чем, как и мы с вами. Не мы назначали штурм в девять часов по всему фронту, а командарм. Кто поручится за то, что это не было заранее известно противнику?

— Было известно, было известно, вы правы! — Они знали все в точности, да! — оживленно отозвался на это Гильчевский. — Хотя от этого и не легче, но это так, — знали!.. Язык наш — враг наш, — такой же, как немцы!.. Шпионы, — вот кто воюет против нас прежде всего! А сволочь эта — шпионы — вербуют изменников. Разве можно было назначать заранее один общий

час для штурма по всему фронту? Нет, как хотите, как вам будет угодно, а этот наш командарм новый, генерал Каледин, сущий дурак! Не зря он каким-то отпетым дураком и смотрит. Меланхолией он что ли страдает, а? У него и усы висят, как у покойника, и глаза мутные... А если ты меланхолик, так на чорта же ты командарм, а? Скажите, пожалуйста, — ведь я слышал, что Брусилов его не хотел, — царь назначил!

— Может быть, в четвертой дивизии успех или в четырнадцатой, Константин Лукич, — попробовал возразить Протозанов, но Гильчевский, пробормотав: «Дай, бог, конечно, дай, бог, нашему теляти волка поймати», разошелся вновь, и Протозанов убедился вновь в том, что только опрос пленных может ввести его начальника в потерянное им равновесие хотя бы одним только краем.

4.

А между тем, когда совершенно упавший и в своем собственном мнении и в том мнении о своей дивизии, какое он себе составил, Гильчевский возвратился, как привычно — верхом, в колонию Нювины, он заметил, — не мог не заметить, — что к северу от его позиций шел бой. Видны были высоко вздымавшиеся, как смерчи на море, столбы дыма и земли от разрывов тяжелых снарядов; эти снаряды были русские, 8-го корпуса, в который входили кадровые дивизии — 14-я и 15-я, с овеванными боевой славой полками: Волинским, Минским, Подольским, Житомирским — в первой и Модлинским, Прагским, Люблинским, Замосцким — во второй. Эти полки тоже почти целиком состояли из новых уже людей, но положение обязывает: вливаясь, точно новое вино в старые бочки, новые люди, спустя короткое время, уже говорили о себе с гордостью: «Мы, волянцы!» или «Мы, минцы!»... «Мы — модлинцы!»... Боевые традиции полков впитывались в них даже и независимо от усилий небольшой кучки кадровиков: они перерабатывались день ото дня сами тем неисповедимым путем, о котором хорошо

сказано народом: «Взялся за гуж, — не говори, что не дюж». Незаметно для самих себя они впитывали в старых полках и выправку, и выдержку, и сметливость, и стойкость: это был тот воздух, которым они дышали.

И первая атака этих старых полков с новыми людьми тоже не увенчалась успехом, но они ее повторили и уже в десять часов прочно заняли первую линию австрийских окопов на участке от фольварка Носовичи до деревни Корыто, откуда был выход на широкое Луцкое шоссе.

Правда, этот участок фронта был все-таки легче для атаки и артиллерии, и пехоты, чем участок 101-й дивизии: здесь не было высот, и вторая и даже третья линия укреплений противника отлично просматривалась и простреливалась, — не нужно было прибегать к помощи аэропланов и змейковых аэростатов, чтобы корректировать стрельбу.

Но, если бы поднялся на аэроплане Гильчевский, он увидел бы дальше, севернее, те же могучие разрывы тяжелых снарядов русских батарей, дающие высокие смерчевые столбы дыма и пыли: это вели упорный бой с противником тоже боевые и овеванные славой полки двух стрелковых дивизий 40-го корпуса — второй и четвертой. Полки эти не имели названий, — только номера: с 5 по 8 — во второй дивизии и с 13 по 16 — в четвертой, но и под этими номерами только они были известны и всей армии, и России, и ее врагам.

В это утро 2-я стрелковая дивизия и 15-й полк «железной» четвертой взяли штурмом две линии окопов на всем своем участке от фольварка Носовичи и дальше к северу до деревни Дрено. Отсюда шоссе на Луцк было еще ближе, чем от участка 8-го корпуса.

Наконец, еще севернее, не переставая, гремел бой 39-го корпуса: две молодые дивизии из бывших ополченских дружин, — 102-я и 125-я, — пробивались тут непосредственно на Луцкое шоссе, которое перекрещивалось на их участке с железной дорогой на Ковель.

В полдень пробита была брешь между двумя деревнями — Ставок и Хромяково. Брешь эта хотя была и не так ши-

рока, зато пришлось по соседству с деревней Дрено, занятой стрелками, под фланговым огнем которых австрийцы по всем признакам дожидались только наступления темноты, чтобы бросить и третью линию своих укреплений и откатиться насколько было можно на запад.

Брусилов поднялся в этот день раньше обычного.

Он привык за долгие двадцать два месяца, как командарм, сурово размеренно распределять свое время, — иначе нельзя было бы и справиться со всей работой, которую приходилось нести. Но неудачи предыдущего дня слишком потрясли его, хотя внешне он старался держаться спокойно и даже уверять своего начальника штаба, что все идет именно так, как им и ожидалось.

Нельзя было надеяться, конечно, на то, что ночь внесет какие-либо перемены к лучшему в обстановку, сложившуюся днем. Нельзя было ждать этого и от раннего утра, но когда человеку хочется, чтобы события, в которые втянуты миллионы людей, развивались как можно быстрее, он, совершенно даже против воли, механически начинает, например, переставлять мебель в своей квартире или перекаладывать книги на своем письменном столе.

Главкомандующий фронтом в чetyреста верст, Брусилов ничем и ничего не мог уже изменить нигде на фронте, но зато он жил интересами всего четырехсотверстного фронта в целом, а не отдельной какой-либо армии на нем, не отдельного корпуса, пехотного или конного, не отдельной дивизии. Это ощущение биения живого пульса целого фронта в нем самом было ново. Хотел или не хотел он этого, но он уже как будто не вмещался в прежнем своем я, он расширялся, рос по мере впитыванья в себя интересов, нужд, сил и надежд других армий, кроме своей бывшей восьмой.

Этот стремительный процесс роста не мог обойтись, конечно, без слишком большого напряжения всех способностей главнокомандующего, а теперь наступал решительный день, — день отчета, день экзамена, который сдавал его фронт, который сдавала через посредство его фрон-

та вся страна, который сдавал в конечном итоге он сам, напросившийся в Ставке 1 апреля на этот экзамен. Ведь если бы он послушался тогда Куропаткина и так решительно выявленное желание привести свой фронт в наступление взял бы обратно, не гремела бы теперь артиллерия, по соотношению тяжелых орудий гораздо более слабая, чем австрийская, и не домогалась бы прорвать фронт противника, несравненно более крепкий, чем его.

Но дело уж было начато, артиллерия гремела. День 22 мая показал, что гремела она как будто впустую: она не испугала врага, не нанесла ему ощутительных потерь, а если и сделала проходы в колючей проволоке, то как знать? Может быть, эти-то самые проходы, образуя собою поневоле узкие дефиле, простреливаемые и справа, и слева фланкирующим огнем, станут местами гибели десятков тысяч беззаветно храбрых людей без всякой пользы для дела прорыва? Так было у Эверта в марте, и, может быть, он, Брусилов, оказался просто чересчур легкомысленно-самонадеянным, несмотря на свой почтенный уже возраст?

В сотый раз он задавал себе этот последний вопрос и накануне, и в этот день, 23 мая, утром. За окнами дома, в котором помещался штаб, был разбит небольшой палисадник, и в нем цвела теперь пышными кистями ранняя персидская розовая сирень.

Запах сирени напоминал ему безмятежную жизнь с женою в Виннице, городе садов; однако это воспоминание даже, милое его сердцу, поневоле должно было пронестись мимолетно, — он не смел остановиться на нем. Жена выражала в письмах не раз уже желание приехать к нему в штаб-квартиру, но, как ни хотелось ему этого тоже, он всеми силами давил в себе это и ей писал, что не может позволить себе такой радости.

Он знал, что в девять часов Каледин назначил штурм всеми своими ударными частями, — об этом была получена его зашифрованная телеграмма в полночь, — и вот стрелки стенных часов, как и стрелки карманных его старых золотых

часов, заводившихся ключиком, показывают ровно девять: штурм!

Кипа бумаг, поднесенных ему на подпись, не давала ему возможности сосредоточиться на мысли, что там сейчас, на фронте одной только восьмой армии. Бумаги были все деловые, касались вопросов снабжения сотен тысяч человек, бывших под его начальством. Сколько из этих сотен тысяч будет «снято с довольствия» сегодня к вечеру?.. Бумаги подписывались им и откладывались в сторону, снова вырастая в толстую кипу. Он не читал их, конечно, это за него делали другие.

Первой телеграммой с фронта, остановившей его внимание, была телеграмма комкора Федотова о взятии в плен двумя ротами 402-го полка трехсот мадьяр.

— Ага! Вот! — радостно сказал Брусилов. — Это сто первая дивизия, — как же! Там начальник дивизии Гильчевский, — отличный генерал, — прекрасный начальник дивизии!.. Отличное начало! Спасибо ему!

О том, что штурм был отбит, что очень много было потерь у Гильчевского, Федотов не сообщал, но это пока и не было нужно. Нужно было другое, и оно приходило с других участков фронта. Радость за радость: 8-й корпус, 40-й корпус, 39-й ополченский корпус, — везде успех!

Брусилов опасался радоваться этим успехам в полную меру: он знал, что командиры имели совершенно непреодолимую склонность раздувать даже и незначительные удачи своих частей до размеров больших и, напротив, большие неудачи сводить к незначительным. Он требовал и теперь подтверждения успехов, подробностей, он не отходил от своей карты фронта, чтобы взвешивать все возможности своих войск к дальнейшим действиям и учитывать возможности врага к их отражению.

Но, когда вечером пришли одна за другой несколько телеграмм командарма восьмой армии, что захвачены все три линии окопов противника на самом главном направлении, на Луцком, куда и был направлен основной удар, так тщательно обдуманый еще задолго до совещания 1 апреля в Ставке, Брусилов

позволил себе, наконец, довольную улыбку охотника, выстрел которого попал в цель.

В этот вечер было составлено им и послано в Ставку на имя Алексева подробное донесение о действиях его бывшей армии, так же как и о действиях других армий его фронта. В этом донесении заключительной была фраза: «Фронт противника на большом участке, на Луцком направлении прорван».

Глава восьмая ПЕРЕД НОВЫМ ШТУРМОМ

1.

При опросе пленных в штаб-квартире Гильчевский все время сидел сам, иногда задавая и вопросы: он не забыл еще немецкого языка, который когда-то штудировал в академии.

Его занимало, главным образом, то, какое впечатление в окопах противника произвела пятнадцатиминутная пауза в артиллерийской стрельбе перед атакой. Эту паузу ввел он сам, думая, что так будет лучше, но вышло как будто хуже, потому что две роты приняли ее за сигнал к штурму, выскочили не вовремя и тем испортили все дело.

Пленные были настроены враждебно, показания их были отрывочны, однако несколько человек из них проговорились о том, что в передовых окопах их и в ходах сообщения было много потерь от русских гранат, когда обстрел неожиданно начался снова в 8 часов 45 минут.

— Ага! Много потерь! — воспрянул духом Гильчевский и переглянулся с Протозановым.

Представить это было можно так: из глубоких блиндажей и «лисьих нор» выбегали солдаты противника для отражения штурмующих штыками и заполнили, конечно, и ходы сообщения, и передовые, более мелкие окопы, когда их накрыл, неожиданно для них, новый град русских снарядов.

Установив, что, благодаря его выдумке, потери мадьяр, считая с пленными, никак не могли быть меньше, чем потери его дивизии, Гильчевский несколько

успокоился. У него возник тут же и новый план артиллерийской атаки, и он поделился им после опроса пленных со своим начальником штаба.

— Вот что мы сделаем. не будем совсем прекращать огня, когда будет назначен нам новый штурм. Люди пусть бегут на штурм по ходам, а легкие орудия в это самое время пусть лупят по окопам и ходам сообщения, чтобы...

Он имел привычку иногда не договаривать того, что понятно без слов: он любил, когда за него договаривали подчиненные, особенно же солдаты; ему казалось, что таким приемом он приучает их думать.

— Чтобы перенести огонь на вторую линию, когда наши добегут до первой,— договорил Протозанов. — Это было бы хорошо, если бы артиллерия с пехотой спелась как следует, чтобы не накрыть по оплошности своих же.

— Как же так накрыть своих? Что вы это такое? Ведь не ночной же назначат нам штурм? — взмахнул обеими руками, как крыльями, вверх Гильчевский.

— Хотя бы и днем, но видимость может быть плохая, Константин Лукич, — например, дождь... Или плохо будет видно из-за дыма.

— Ничего, мы выберем время, вот что мы сделаем. Теперь уж не командарм и не комкор даже, а я сам назначу время для штурма, — вот что-с. Я отвечаю за действия своей дивизии, я и назначаю... Раз у меня ополченцы, то пусть в мой монастырь с кадровым уставом не ходят. У меня свой устав... А все-таки, почему же это выскочили не во-время две роты, — вот вопрос, — вспомнил вдруг Гильчевский. — Надо бы вызвать к прямому проводу полковника Кюна.

С Кюном по этому поводу еще не говорили, — совсем не до того было. У начальника конвоя при пленных, зауряд-прапорщика, были сопроводительная бумажка и донесение, подписанные Кюном; было потом и новое донесение его же о неудачном штурме в 9 часов; но лично с ним еще не говорил Гильчевский, и вот Протозанов вызвал к телефону Кюна.

Оказалось, что Кюн заболел внезапно, и вместо него говорил полковой адъютант Антонов.

— Чем заболел? — удивленно спросил Протозанов.

Прямого ответа он не получил. Антонов передавал, что командир полка лежит и плохо стоит на ногах, если пытается встать, поэтому ложится тут же снова.

— Что такое с ним? — удивился и Гильчевский. — Вертячка, как у овец от глистов в голове бывает, или, может быть, живот схватило? Спросите определенно.

Однако и на более определенный вопрос Протозанова Антонов отвечал так же неопределенно и путанно; приказание же двум погибшим в бою командирам рот о начале штурма ровно в девять часов было, по его словам, утром передано им, как и всем прочим.

— Ну, на мертвых можно валить что угодно, у них не добьешься правды, — сказал Гильчевский Протозанову, — значит, я буду иметь в виду, что полковник Кюн подозрителен по холере... или по чуме, или по сибирской язве, почему и руководство штурмом передать командиру 401-го полка Николаеву, — вот как мы сделаем... И теперь пусть оба полка полностью идут на штурм, — была не была, — повилаася... А в резерве остается пусть третий полк. А четвертым пусть подавится комкор Федотов... В такой момент полк у меня взял, а? Только бумажонки строчит в тридцати верстах, а порох он едва ли когда нюхал!

Зная, что по поводу комкора Гильчевский может наговорить много, Протозанов постарался вставить как можно мягко:

— У нас есть еще учебные команды, Константин Лукич.

— А как же нет? Конечно же, есть полторы тысячи человек! — обрадованно, точно сам не знал этого раньше, подхватил Гильчевский. — Вот и их тоже, их тоже в резерв... Конная сотня еще имеется, — и конную сотню в резерв: пустим ее за отступающим противником вдогонку... если он, прокля-

тый, вздумает отступить перед ополченцами!

Все-таки он не мог отделаться от мысли, что штурм этого дня провалился потому только, что ополченцы, во скольких водах их ни мой, настоящего военного обличья иметь не будут, и ожидать от них чего-нибудь путного просто глупо.

Горькие мысли эти несколько раз вкладывал он в течение дня в гораздо более резкие и злые слова. Впрочем, и о себе самом он тоже сказал как-то между делом:

— Дал маху!.. Понадеялся на какой-то кислый сброд, что ни ступить, ни молвить не умеет. На что же я надеялся, скажите, — на счастливый случай? Только Иван-дурак на счастливый случай надеется, и то в дурацкой сказке.

— Хотя бы узнать, как в четырнадцатой дивизии штурм прошел, грому там было пропасть! — сказал Протозанов.

— Авось, завтра утром узнаем, — отозвался Гильчевский хмуро.

Но узнать об этом удалось ему еще задолго до утра, когда все распоряжения на завтрашний день были им переданы в полки и команды.

Он уже укладывался спать, когда услышал с надворья громкий, круглый голос:

— Генерал Гильчевский здесь квартирует?

Потом кто-то звучно спрыгнул с коня.

— Вот тебе на! Кто же это там такое? — проворчал недовольно Гильчевский, натянул снова на плечи только что было сброшенные подтяжки и взял со стула распяленный на его спинке староватый уже своей диагональный френч.

А за дверью тот же круглый голос:

— Должи его превосходительству, что полковник Ольхин, командир шестого финляндского стрелкового полка.

— Ваше превосходительство, полковник Ольхин, — появился и сказал отчетливо, точно подстегнутый бодрым голосом приехавшего, вестовой Архипушкин, которого Гильчевский обыкновенно звал, переставляя ударение, — Архипушкин.

— Проси же, что же ты! — крикнул Гильчевский, натягивая френч.

И вот в комнате, служившей начальнику дивизии и кабинетом, и спальней, появился молодой еще для командира полка генштабист, крутоплечий здоровяк, и отрекомендовался по уставу:

— Ваше превосходительство, честь имею представиться, назначенный в ваше распоряжение со своим шестым финляндским стрелковым полком генерального штаба полковник Ольхин.

— Как так в мое распоряжение? — подавая ему руку, спросил Гильчевский.

— Точно так же, ваше превосходительство, как и пятый полк той же дивизии, который идет за моим полком и часам к четырем утра, я думаю, будет на месте, — весело ответил Ольхин.

— Вся бригада в мое распоряжение? — удивился Гильчевский.

— Относительно первой бригады мне известно, что она назначена в резерв вашего корпусного командира, генерала Федотова, а уже его распоряжением будет передана в ваше распоряжение в порядке постепенности, начиная с моего полка, — тем же веселым тоном сказал Ольхин и добавил: — Поэтому, в случае надобности, располагайте и мною, и моим полком, ваше превосходительство.

— Да это же, позвольте, как замечательно вышло! — обрадованно заторопился Гильчевский, усаживая за стол позднего, но очень вовремя явившегося гостя. — Архипушкин! — крикнул он весело. — Раскачай, бестия, самовар! Будем поить чаем полковника.

Он поднял, конечно, и Протозанова, и весь штаб собрался у стола послушать вестей от свежего человека, кстати сказать, умевшего увлекательно передавать эти вести.

Прежде всего Ольхин осведомил всех о том, чего здесь еще не знали, — что австрийский фронт прорван двумя корпусами — 8-м и 40-м.

Все крикнули «ура», подняли рюмки, как-то неизвестно даже кем и поставленные на стол перед чаем, и выпили шустовского коньяку «четыре звездочки», вытасченного из «неприкосновенного запаса» ради исключительного слу-

чая, как шутил разошедшийся Гильчевский.

— Странно только одно, — заметил после того, как вспрыснули победу, Протозанов, — ведь 14-я дивизия рядом с нашей, а мы об ее успехах не извещены.

— У 14-й успехи скромнее, — у 15-й большие, — сказал Ольхин, — а почему в вашей дивизии неудача, этого, простите меня, и в штабе корпуса мне не объяснили.

— А чего же там хотели от ополченцев? — обиженно вскинулся Гильчевский.

— Да ведь ополченцы-то были — ваша дивизия, — улыбаясь, возразил Ольхин.

— Так что же из того, что моя?

— От вас привыкли уже ожидать чуть что не чудес, ваше превосходительство. Я ведь помню, был как-раз тогда в Ставке, — как вы там всех изумили, что без моста через Вислу дивизию свою, кажется, 83-ю, перекинули.

— Да, 83-ю, только та была второчередная, а не ополченская.

— Хотя бы даже и кадровая, хотя бы даже и наша — финляндских стрелков дивизия, — но чтобы ее под огнем противника перебросить через реку в псаверсты шириною, да еще и австро-германцев с того берега выбить, это, знаете ли, до такой степени поразило тогда нас всех, что мы вам аплодировали заочно, как могли бы только Варламову в Александринском театре аплодировать.

Ольхин говорил вполне искренно, — он был увлечен даже воспоминанием о том, что успело полузабыться в самом Гильчевском, а это, с одной стороны, польстило старому генералу, с другой, несколько смутило его.

— Во-первых, там запасные были, — пробормотал он, — а во-вторых, — офицерский состав лучше... А то, представьте вот, один полк у меня взял тот же Федотов, полк с хорошим командиром полка, Татаровым, а у меня остался полк с таким командиром, что вот он там заболел какой-то сибиркой или чумой, чортом или дьяволом, и всю мне обедню испортил.

— Как же именно испортил? — любопытствовал Ольхин.

— Как? Не распорядился как следует, тем и сорвал штурм, — вот как именно.

— А какой же штурм? Первый, второй, третий? — добивался ясности Ольхин.

— Ну-ну, — «второй-третий»! Разумеется, первый, он же был и единственный.

— Так вы с одного штурма хотели позиции на высотах взять? — изумился Ольхин. — Да этого не то что от ополченцев, — а и от любого кадрового полка едва ли возможно было добиться. Я слышал о трех-четырех штурмах подряд, даже о пяти и шести штурмах, а об одном — простите меня, ваше превосходительство, — только от вас слышу.

— Гм... Вы как к этому относитесь? — обратился к своему начальнику штаба Гильчевский.

— Конечно, мы тоже могли бы попробовать, да испугались больших потерь, — сказал Протозанов.

— Потери у всех были серьезные, но ведь вопрос ставился о прорыве позиций, а не о том, чтобы как можно меньше было потерь. Какие бы ни были потери у нас, у противника они будут несравненно больше, — возразил Ольхин.

— Гм... Вот, видите как? — несколько укоризненно кивнул головой Протозанову Гильчевский и добавил, обращаясь уже к Ольхину: — Так что вы полагаете, если мы завтра рискнем во-всю, то... что нас может ожидать, а?

— Успех! — не задумываясь, но очень твердо ответил Ольхин.

И все выпили еще коньяку за завтрашний успех штурма, а потом уже перешли к чаю.

2.

Прапорщик Ливенцев ловил себя на том, что несколько раздвоился после чтения письма Натальи Сергеевны: с одной стороны, жизнь приобрела для него почему-то большую ценность, чуть только оживала в предстании ярче эта скромная и тихая женщина, высокая, с четкой походкой, с верой в луч-

шее будущее России, библиотекарьша из Херсона, — самый близкий, хотя и мало все-таки известный ему человек; с другой, жизнь его уже растворялась, даже почти растворилась, в тысячах (миллионов он не представлял) других жизней около него, пусть даже иные, далекие от войны люди и называют пренебрежительно пушечным мясом все эти жизни. Никому из них не хочется умирать, но все в его роте, в его батальоне, в его полку и в другом полку рядом, — несколько тысяч людей, очень твердо знают, что в каждый новый момент могут быть убиты или искалечены, однако же они не бегут в ужасе куда-то подалека от одной этой мысли: инстинкту самосохранения противостоит в них другой инстинкт — сохранения своего жилища; миллионы же их жилищ с семьями в них — это их родина; они — граждане родины, пославшей их на свою защиту, — в этом их ценность для них же самих, хотя бы они этого и не представляли ясно, в этом их гордость самими собой; это повышает вес каждого в собственных глазах.

В часовом пробуждается гордость, когда он охраняет полковую святыню — знамя, мимо которого никто в полку не смеет пройти, не отдав ему чести. Но что же такое знамя, как не символ Родины? На часах у Родины, на страже Родины стоит каждый солдат, как и офицер тоже. Во всякого, кто подходит к знамени с целью сорвать его с древка, часовой обязан стрелять, а когда выпустит все патроны, выставить против него штык, и не смеет уходить от знамени, если даже чувствует, что он слабее врага, а стоять и биться за него должен насмерть.

Это сурово, но это красиво. Тут если и теряется жизнь, зато на высшей своей точке, в экстазе борьбы за самое дорогое в жизни, за то, что ее освещает, за то, что ее подымает, за то, чем она широка...

Очень много подобных мыслей пришло в голову Ливенцева, когда он смотрел на своих солдат в окопах, ощущая письмо Натальи Сергеевны в кармане своей гимнастерки. Была какая-то неукротимая потребность поделиться с

ними своей радостью, упавшей к нему, может быть, в последний день его жизни, и в то же время желание примирить своих солдат со смертью, какая их тоже, может быть, ждет, но неизвестно было ему, где взять для этого понятные им слова и даже, с чего именно начать.

И, остановив глаза на рядовом Кузьме Дьяконове, очень хозяйственного вида пожилом ополченце, всегда аккуратно выбритом, с чистой и хорошо смазанной винтовкой, Ливенцев спросил его для начала:

— Ну-ка, Дьяконов, как ты думаешь, для чего человек живет на свете?

— Для чего живет? — повторил степенный Кузьма Дьяконов, человек широкий, неслабый. — Да как сказать, ваше благородие, для чего человек живет...

— Ну, да, — для чего, как полагаешь?

— Полагаю так, что как бы ему хорошо поест, да вот еще, как бы, конечно, получше ему одеться, — вот для этого он, человек, и живет.

Очень серьезное лицо было у Дьяконова Кузьмы, когда он говорил это, — заподозрить его в малейшей тени насмешки над ним Ливенцев не мог, но, пораженный таким ответом, спросил:

— А что же, по-твоему, значит, «хорошо поест»?

— Ну, известно, ваше благородие, значит, чтоб настоящая пища была, — убежденно-спокойно сказал Дьяконов (голос у него оказался теноровый).

— Не понимаю, что это за «настоящая пища», — какой смысл ты вкладываешь в эти слова, — уже начиная улыбаться, сказал Ливенцев.

— Да, вот, к примеру, хоть об себе мне вам доложить, ваше благородие, — безулыбочно начал объяснять Дьяконов. — Жил я до мобилизации под Керчью, — город такой есть...

— Знаю я Керчь, — ну? Селедка там ловится.

— И селедка, и пузанок, и разная там всячина: бычки, судаки, лещи, — прочие...

— Чем же это не пища? — спросил Ливенцев с любопытством, но Кузьма только головою повел.

— Какая же это пищия, ваше благородие, — искренно недоумевал он, так как для него-то дело было вполне ясно.

— Что же ты там делал, под Керчью? Хозяйство у тебя там было?

— Да как сказать вам, — было, конечно... Корову баба держала, молоко там, сливки, творогом индюшат кормила... Курей штук двадцать, кролы... Ну, опять же, огородишко там у нас, — летнее дело, — кавуны, дыни там, редиска, морковка, картофеля, — все зрящее, а что касается настоящей пищии, — не-ма-а...

Подошел в это время фельдфебель Верстаков с докладом о чем-то и не дал Ливенцеву узнать у Кузьмы Дьяконова, какую же именно пищу считает он «настоящей».

А другой ополченец, Завертяев Тихон, «вредными вещами» назвал как-то в подобном разговоре с ним Ливенцева картины. Он до войны служил в богатом доме лакеем, и там его заставляли каждый день обтирать пыль с картин, развешанных на стенах, — вот из-за этой пыли картины у него и стали вредными вещами; сказать же, что это были за картины, он не мог, так как это ему, по его словам, было «совсем без надобности», — картины и картины... «А кому из гостей интерес был на них смотреть, те смотрели».

Все-таки ежедневная забота о картинах приучила Завертяева к порядку, и солдат из него вышел довольно исправный. Но было много и таких, которые и солдатами были плохими, и картинами не были огорчены, так как никогда их не видели, и все слова застывали на языке Ливенцева, когда его подмывало сказать им горячо и ярко о родине, о том, какая святая возложена на них задача — защищать свою грудью родную землю.

Он думал, что его поймут если не все солдаты его роты подряд, то хотя бы младший командный состав, и, собрав взводных и отделенных унтер-офицеров в одной землянке, повел было с ними беседу о том, как приходили уж не раз завоеватели на русскую землю, но уходили с разбитыми зубами, а вот теперь такими завоевателями Рос-

сии хотят стать немцы. Но первый же из вызванных им на разговор взводных, бородатый и расторопный и тем похожий на Старосилу, Мальчиков, хитровато щурясь, сказал уверенно:

— До нас, ваше благородие, немец не дойдет, — мы вятские.

И никто из других унтеров не рассмехался при таких смешных словах, — значит, они даже и не показались им смешными. У всякого из них родина была своя: у кого Вятка, у кого Рязань, у кого Саратов, у кого Барнаул на реке Оби, у кого Семипалатинск, у кого Кяхта, на границе с Китаем, причем саратовец не имел решительно никакого понятия о Кяхте, а рязанец о Семипалатинске, и каждый по-своему понимал самое слово Родина.

Оставалось только напоминать каждому, что он обязан был делать при штурме неприятельских окопов и что может всех ожидать в этих окопах, которые гораздо глубже русских, имеют отсеки и, пожалуй, будут защищаться упорно.

— Если он, немец, будет упорен, то нам надо быть вдвойне упорней, — говорил Ливенцев. — Теперь нам хорошо, — проволоку разнесла к чорту наша артиллерия, а мне в прошлом году пришлось в Галиции через проволоку лезть, и вся рота так под огнем лезла, — через проволоку, — даже ножниц не было у нас, чтобы ее резать, — и, однако, мы перелезли и окопы взяли. А теперь что же! — Теперь благодать! Теперь у нас и гранатометчики есть, а тогда ведь не было... Теперь вся армия на немца идет, а тогда один только наш полк почему-то послали, и то мы шли с одними винтовками... Только когда мы уж в австрийских окопах сидели, пулеметная команда к нам подспела, артиллерия же наша где-то в болоте завязла... А почему мы окопы взяли? — Потому что шли дружно, стеной, без отсталых, вот так и теперь будем: — ура, — и всё на свете забудь и помни только про австрийские окопы, а прочесал первую линию, — гони во вторую... Главное, от товарищей не отставай, не задерживайся, ни на какую окопную австрийскую хурду-мурду не

зрись, что бы там у них ни валялось... Даже и с пленными не заставляйся, — это уж я распоряжусь на месте, кому с ними идти, а не я если, — убит могу быть или тяжело ранен, — то мой заместитель, подпрапорщик Некипелов. Кстати, о ранах. Легкие раны в бою не замечаются: если только с ног не свалило, — действуй, из строя не выходи! В бою каждый человек важен, а легкую рану после сам перевяжешь, на то у всех индивидуальные пакеты имеются, а не достанешь перевязаться сам, — товарищ перевяжет...

Так, и в этом роде говорил Ливенцев, стараясь казаться гораздо опытнее, чем он был на самом деле. Он нисколько и не подвигивал себя, — он о себе лично не думал, только о своей роте, от которой себя отделить уже не мог, и ответственность за действия которой в предстоящем бою ощущал очень остро.

Но он не отделял и своей роты от всего четвертого батальона, хотя ей приходилось вести весь батальон, так как она была в нем по счету первой. Поэтому он ревниво присматривался, насколько это можно было в окопах, и к батальонному Шангину, и к командирам других трех рот.

Шангин, как показался ему вначале разболтанным, так и оставался в его представлении разболтанным и торопыгой. По опыту он знал, что такие командиры в бою не портят дела только тогда, когда остаются сзади.

Командирами четырнадцатой и пятнадцатой роты были прапорщики, как и он, Коншин и Тригуляев, а в шестнадцатую несколько позже их назначен был почему-то старый отставной корнет Закопырин, неспособный уже ездить верхом, однако и ходивший, по причине своей толщины, также плохо.

— Как же вы побегите с рогой в атаку? — спросил его Ливенцев без иронии, но с неприкрытым любопытством.

— Бегать я никому не обаялся, — я не беговая лошадь, — с достоинством ответил Закопырин.

— Однако ведь придется же и пробежаться до австрийских окопов, — силась представить этого коротенького и

совершенно заплывшего до сокрытия глаз командира роты бегущим, снова спросил Ливенцев.

Но с еще большим достоинством и даже с рокочущим хрипом в жирном голосе сказал на это Закопырин:

— Вы забываете, что я не-е прапорщик пехотный, а кор-нет.

И Ливенцев вспомнил, что он слышал от прапорщика Тригуляева, человека по натуре довольно веселого, но совершенно пустого:

— Закопырин-то наш—каков? — выражал батальонному свое порицание за то, что вы, прапорщик, командуете первой ротой в батальоне, а он, корнет, — последней.

При этом Тригуляев подмигивал и выделывал такие сложные штуки губами, щеками и ноздреватым носом, что небольшое лицо его морщилось, как у новорожденного.

Коншин, назначенный на место Обидина, был гораздо серьезнее, но по близорукости носил пенсне, а это тоже, как и солидная толщина, совершенно лишняя вещь в бою. До войны он работал в Тамбовском губернском архиве и сотрудничал там же, в Тамбове, в «Губернских ведомостях», а эти занятия расплосжили его к основательности действий и непреклонности суждений.

Правда, Ливенцев сомневался в том, был ли Коншин способен бежать впереди роты своей на штурм, но все-таки он был и не такой пожилой, и далеко не так щедро упитан дарами природы, как Закопырин. А привычка копаться в архивах привела его к тому, что он довольно хорошо сумел изучить полевой устав, выпущенный главным штабом еще до японской кампании, когда не было в военном обиходе не только аэропланов, пулеметов и колючей проволоки, но даже и трехлинейная винтовка была введена не во всех частях.

Глава девятая

ШТУРМ

1.

Утром, на рассвете пошел вдруг сильный дождь. Солнце, поднявшись, рас-

швыряло тучи, но сырость в воздухе держалась и повлекла за собой стрельбу химическими снарядами по батареям на участке дивизии Гильчевского: австрийцам непременно захотелось истребить всю артиллерийскую прислугу и этим сорвать новый штурм.

К газовому обстрелу давно уже готовились и носили при себе на всякий случай противогазы. Однако знали, что это слишком сильное средство войны — палка о двух концах: на газовый обстрел заранее приказано было отвечать тоже газовыми снарядами, которых достаточно было теперь как в парках, так и на позициях. Как только раздались крики: «Химия! Газы!» и лишь только успели надеть маски, взялись за эти снаряды.

Батареи в это мглистое утро имели совершенно фантастический вид.

Разрывы австрийских снарядов вообще были красные, чем издали отличались от русских, дававших белый дым, и вот теперь, в красной, как при пожаре, мгле, на батареях металась офицеры, точно на дьявольском маскараде — с квадратными стеклами в белых черепах из резины и с длинными зелеными хоботами.

Они именно металась, а не ходили от орудия к орудию. Подавать команды наводчикам, тоже смотревшим сквозь стекла масок, было нельзя, — голоса противогазы почти не пропускали, приходилось командовать каждому наводчику на ухо и от него тут же бросаться к другому. А при каждом броске колело в легкие и почти опрокидывало навзничь от удущья. Не верилось, что противогазы рассчитаны на шесть часов, — каждому казалось, что в них невозможно выдержать и часа.

Теперь никто уже не думал о возможности смерти от осколков снарядов, — это отступило на второй план, выпало из сознания, — на первом плане было только это — вот-вот нечем будет дышать!.. Обстрел тянулся больше часа, и прекратили его австрийцы: они не ожидали, что русские батареи будут им отвечать так же.

Когда часам к девяти приехал на позиции Гильчевский, он увидел на бата-

реях лошадей, валявшихся около своих коновязей с кровавой пеной, бьющей из ноздрей и рта, с мутными глазами; некоторые из них бились еще в судорогах, другие уже издохли. Люди, снявшие противогазы, были бледны, красноглазы, с угольной пылью, осевшей на губах и веках; они качались и с трудом понимали простые слова. Многих пришлось отправить в тыл, передать врачам, а между тем даже и от комкора Федотова пришел приказ о повторении штурма.

Установлена была ночью связь с 14-й дивизией, и оттуда пришли ободряющие вести: две линии австрийских окопов были заняты прочно, так что если бы нажала как следует 101-я, то враги очистили бы сами и третью линию.

Хотя полку Ольхина Гильчевский приказал остаться в резерве, но сам Ольхин не усидел в Нобвинах, — прискакал на позиции и пробрался на наблюдательный пункт начальника дивизии.

Он был вне себя от выходки австрийцев:

— Газы вздумали пустить в дело, мерзавцы, — ого! Порядочные люди так не поступают!.. Вы знаете, что это значит, Константин Лукич?

— Догадываюсь отчасти, — ответил Гильчевский, в то же время пристально вглядываясь в глаза Ольхина. — А вы как думаете?

— Это называется: не мытьем, так катаньем, — вот что это такое! — бурно кричал Ольхин, очень темпераментный человек. — Мытьем, по-человечески, отчаялись взять, а конец свой чувуют, — вот и гадают!

— Дескать, — семь бед, один ответ? — Да-да-да, голубчик мой, я и сам прихожу к тому же выводу... к тому же выводу...

Он присматривался в бинокль к позициям противника, чтобы найти в них новое, чего не было после вчерашнего штурма, однако это новое было только фогатки, беспорядочно набросанные в основательно проделанных проходах.

— На полчаса работы для донцов и туркестанцев, только на полчаса... — говорил он больше про себя, чем для Оль-

хина, Протозанова и окружавших его штабных. — Они же теперь злы на мадьяр и разнесут у них все к черту с первых же залпов. Только нужно им все-таки отдышаться и привести у себя все в порядок... Упряжки новые пригнать из парков... А мосты? А в каком состоянии наши мосты? Узнайте сейчас же, — обратился он к начальнику связи.

Заблаговременно, еще перед первым штурмом, приказал Гильчевский сделать мостки через окопы и ходы сообщения, не говоря уже о ручье Муравице. Мостки имели особое назначение: по ним должны были, в случае удачи штурма, проскочить горные батареи для поддержки наступающей пехоты; если же удача будет такою, какая могла мерещиться только в пылких мечтах, то вслед за горными могли бы двинуться по этим мосткам и все вообще легкие батареи, — бить по отступающему неприятелю вдогонку.

Однако мостки, возможно, были разбиты утром, и Гильчевский встревоженно ждал сообщения об этом. Но они неожиданно оказались целы, и Гильчевский обвел всех около себя округлившими и проясневшими глазами и сказал Протозанову:

— Приказываю: артиллерии открыть усиленный огонь ровно в одиннадцать, а ротам повторять штурм ровно через полчаса, — в одиннадцать с половиной... Пехота чтобы не ожидала, когда огонь прекратится, — так как он прекращаться не будет, а будет лупить в хвост и гриву первую линию, пока до нее не добегут наши, а когда добегут, вот тогда только по второй пусть жарят все наши батареи: это вместе с тем будет заградительный огонь, чтобы вторая линия не успела подоспеть на помощь первой. Подробные приказания пехоте были отданы раньше без обозначения времени штурма, — теперь, значит, только точно указать время, да чтобы не выскакивал никто раньше времени, как вчера у полковника Кюна! Кстати, надо узнать, чем он таким вчера был болен, да не болен ли и сейчас этот Кюн?

— Слушаю, ваше превосходительство, — внимательно слушавший и подтя-

нутый, как всегда, ответил Протозанов и отошел для передачи приказа; и было всего только десять часов, когда и пехота, и артиллерия узнала о решении, принятом начальником дивизии, а начальник дивизии узнал, что командир 402-го полка был вчера не то, чтобы болен, а всего только несколько недомогал; в том же, что две его роты вчера выскочили на штурм раньше времени, виноваты исключительно только сами командиры этих рот, которые, к сожалению, были убиты и ответственности больше ни за какие свои проступки нести не могут.

2.

Ровно в одиннадцать грянула вся артиллерия, сколько ее было в дивизии. Обе высоты — 100 и 125 — в первые же минуты окутались дымом от разрывов, однако мадьяры не захотели остаться в долгу: постепенно вступали в борьбу с гаубичными и тяжелыми батареями, громившими пулеметные гнезда, их тяжелые батареи.

Но было все-таки преимущество над 38-м мадьярским, короля испанского полком и над другими полками мадьяр, занимавшими высоты, у полков дивизии Гильчевского: русская легкая артиллерия оказалась многочисленной, хотя тяжелые батареи противника и были сильнее.

Пальба все учащалась, — ее можно уже было назвать ураганной. Такой силы огня не разрешал Брусиллов, боясь износа орудий, но на полчаса подготовки штурма, при условии чередования батарей, ее разрешил Гильчевский.

Земля гудела и дрожала, — это все замечали в окопах. Перепуганные полевые мыши, ютившиеся между бревнами потолков, падали вниз на головы солдат, не считая уж больше своего убежища прочным; вместе с ними сыпались и мелкие комья сырой земли.

Однако держаться можно было только в глубоких окопах, — ходы сообщения теперь не спасали ни от осколков, ни от шрапнели. Представляя то, что творилось на позициях своих и противника, прапорщик Ливенцев вспоминал прошлогоднюю атаку своей роты на вы-

соту 370 под прикрытием густого тумана, когда не было ни такой ошеломляющей палубы, ни таких огромных сил, пущенных в действие с обеих сторон. Случайно тогда ждала его удача, но что ждет его теперь?

О смерти почему-то не думалось. Живого представления о ней, быть может, совсем уже близкой, не принес к нему и Обидин, назначенный Гильчевским в третий батальон, в одиннадцатую роту, к удовольствию Капитановой. До этого дня Ливенцев и Обидин виделись редко и мельком и почти не говорили друг с другом, теперь Обидин был торжественно растревожен; он сказал проникновенно:

— Итак, значит, оба наши батальона через час пойдут на убой! Ну что ж, — раньше ли, позже ли, все равно... Николай Иванович, я верю, что вы останетесь живы и невредимы, а меня убьют... убьют, это я чувствую!

— Как же можно это чувствовать наперед, — что вы! — пытался успокоить его Ливенцев, напрасно усиливаясь в это время припомнить его имя и отчество.

— Нет, нет, — не говорите, — волновался Обидин, имеющий, действительно, какой-то обреченный вид.

— Сны что ли вы нехорошие видите? В этом нет ничего вещего: при такой обстановке всякий подобные сны может видеть.

— Сны, и все... Нет, я не уцелею, нет!.. Николай Иванович, — это, может, вам покажется тривиальным, что я скажу, но вы не смотрите так... Вообще, я не герой, я — человек слабый... У меня есть невеста, Николай Иванович, — вот ее адрес (он сунул в руку Ливенцева бумажку). Сообщите ей, что меня убили, — хотя... хотя это, может быть, и жестоко с моей стороны, но я так смотрю на это: пусть лучше она узнает, чем будет оставаться в неведении, считать меня живым, когда я уж буду гнить в земле... если только меня похоронят, а не бросят там, где убьют меня...

Ливенцев очень живо представил при этих словах внимательные глаза Натальи Сергеевны и обещал, конечно, написать невесте Обидина, но тот сле-

дил в это время ревниво за своей бумажкой и сказал по-ребячески-просительно:

— Спрячьте, спрячьте, пожалуйста, Николай Иванович, а то вдруг потеряете, и как же тогда?

— А почему же вы не допускаете, что меня убьют, может быть, гораздо раньше, чем вас? — спросил, невольно улыбнувшись при этом и пряча бумажку в карман шаровар, Ливенцев.

— Убежден в этом! — уверенно ответил Обидин. — Вы рождены под счастливой звездой, как принято говорить...

— Или в сорочке, как тоже принято говорить? Впрочем, есть еще такие, что и в талисманы верят: недалеко ходить, — корнет Закопырин верит и что-то такое на шее носит. Блажен, кто держится за тетенькин хвостик какой-нибудь ерунды: дуракам иногда, действительно, непостижимо везет! — насмешливо говорил Ливенцев.

Обидин смотрел на него проникновенно и вдруг переделернул губами, как будто стремясь усмехнуться, и не то, чтобы сказал, а как-то выдохнул:

— Хватаюсь, как утопающий, за то, что вы мне бросаете: — ведь я-то дурак, конечно, в ваших глазах, а? Так что, может быть, и мне повезет сегодня быть только раненым, а? Пусть даже оторвет хотя бы ногу... или даже руку, — я согласен...

И снова, как когда-то раньше, охватило Ливенцева при этих жалких словах чувство брезгливости к тому, с кем вместе, в одном купе вагона, ехал он в марте, два месяца назад, сюда, на фронт; поэтому он сказал теперь уже безулыбно, даже шмуро:

— Был такой страшный для нас день во время русско-японской войны, когда взорвался «Петропавловск», и адмирал Макаров, и художник Верещагин, и множество дорогих людей погибло, а Кирилл Владимирович, великий князь, один из сотни ему подобных и нам ненужных, и для нас вредных, выплыл каким-то образом из пучины наверх, и его подобрали, и он жив до сих пор и, говорят, торчит зачем-то в Ставке... Помнится, старый боевой генерал Дра-

гомиров отозвался на это тогда народной поговоркой, не то, чтобы великосветской, однако меткой: «Дерьмо плавает!» ...Так что и с вами вполне может случиться то же самое, что и с вышеупомянутым великим князем.

Обидин не мог не понять колкости Ливенцева, но счел за лучшее не показывать, что понял, пробормотал: «Да, вот видите, повезло же ему, — может быть, мне тоже»... и простился, а Ливенцеву было не до того, чтобы думать над Обидиным: у него под началом было около двухсот человек, за многих из которых не мог поручиться он, что они не чувствуют себя теперь так же, как Обидин.

Машинально он вынул бумажку и прочитал на ней: «г. Касимов, Рязанской губ., Верхняя ул., собственный дом, Вере Андреевне Покотиловой». Он не слышал раньше от Обидина, из каких тот мест, но теперь, хотя это был адрес его невесты, а не его самого, — зачислил его тоже в касимовцы. Почерк у него оказался странный какой-то, как у малограмотных людей, что Ливенцев объяснил, впрочем, отчасти его волнением, отчасти плохо очиненным химическим карандашом.

3.

Несколько раз за время канонады смотрел Ливенцев на свои часы, и когда, наконец, стрелки подошли к половине двенадцатого, он крикнул Некипелову:

— Штурм!

Некипелов снял фуражку и перекрестился. Считая, что это неплохо в такой момент, Ливенцев сделал то же, а вслед за ним, без всякой с его стороны команды, снимали фуражки и крестились солдаты.

Некипелов не зря получил подпорщика: он имел георгия всех четырех степеней. Как-то, разговорившись с ним, Ливенцев узнал, что у него в Сибири есть сестра, которая ходит на медведей с рогатиной и с ножом, и она недавно писала ему, что имеет на своем счету уже двенадцать медведей.

— Какова же она из себя? — полюбопытствовал Ливенцев.

— Сказать, чтобы была из красивых собою, нельзя, — так она, вроде меня, ну, зато она и ростом вышла с меня и силой ее бог не обидел, — объяснил ему Некипелов. — А на медведей это она приучилась с отцом ходить, я уж в это время на службе был... Ну, раз они такого огромину из берлоги подняли, что и сами не рады были... Этот Мишка отца тогда повредил, — мог бы и совсем задрать, если б не сестра Дуня: она к нему кинулась с ножом, как он стоймя стоял, да снизу вверх ему по брюху — тррр! А, конечно же, нож сама точила, — как бритва он был, — вот почему огромину этот повалился, а то бы конец отцу. Так что теперь уж он дома сидит, — одна Дуня ходит.

— Да ведь рогатину медведь сломать может или как? — захотел уяснить это Ливенцев.

— Обязательно сломает, — в этом и дело, — невозмутимо сказал Некипелов.

— Ну вот, допустим, сломал, — как же потом?

— А потом очень просто: она подскочит и своим этим ножом его снизу вверх по брюху — тррр! — и медведь стал ее — остается ей только драть с него шкуру да окорока его положить под шкуру на санки, да домой все это везть, — и все дело.

Особенно живописно у Некипелова выходило это «тррр», — звук, которого, может быть, невозможно было и слышать даже сестре его Дуне во время ее богатырского подвига в одиночной борьбе с сильным зверем в глухой зимней тайге. И когда бы потом ни обращался Ливенцев к Некипелову, всегда и неизменно вспоминалось ему это «тррр».

Теперь, во время сокрушающей все там, наверху, канонады, отдающейся во всем теле не как треск, а как совершенно подавляющий грохот, не смолкающий ни на минуту, — мирной идиллией могла бы показаться схватка великорослой Дуни с хозяином тайги; но зато в той схватке, которая предстояла вот-

вот, можно было положиться на брата сибирской медвежатницы.

Правда, четвертый батальон назначен был идти по порядку, после третьего, но, во-первых, тринадцатая рота должна была показать пример всему батальону, а, во-вторых, третий батальон с двумя Капитановыми во главе и с такими ротными командирами, как Обидин. Ливенцев не считал надежным. Ему представлялось, что этот батальон непременно испортит дело двух первых, и не кому-либо другому, а именно ему, Ливенцеву, придется спасти положение какою-то мгновенной догадкой, каким-то «тррр», без которого все дело может погибнуть.

Батареи не прекращали пальбы, и трудно было судить в окопе о том, что делалось наверху, зато это видел взволнованно следивший за всем со своего наблюдательного пункта Гильчевский.

Слишком смело выдвинутый вперед, — всего на семсот шагов от окопов, — этот наблюдательный пункт уцелел от артиллерийского обстрела, но пули залетали сюда и звучно шлепались в бруствер, — так что стоять здесь было совсем не безопасно.

Однако ни Ольхин, ни Протозанов, ни тем более сам Гильчевский, — никто из них не мог удержаться от соблазна следить за тем, как выбежали из своих окопов первые роты обоих ударных полков, как очень быстро пробежали они по расчищенным снарядами проходам, как задерживались они то здесь, то там на брустверах мадыарских окопов, но потом прыгали вниз и исчезали, а за ними следом бежали, как будто даже еще быстрее и уверенней, вторые роты, потом третьи...

— Пошло дело, пошло дело! — кричал возбужденно Ольхин.

— Подождите хвалить, — не сглазьте! — останавливал его Протозанов.

— Нет уж, — теперь не сглазишь! Теперь уж взяли их за жабры! — не унимался Ольхин.

Гильчевского ободряло то, что командир полка чужой дивизии, — при том старой кадровой, стрелковой, и академик к тому же, так близко прини-

мает к сердцу интересы его дивизии, ополченской, к которой принято было в кадровых частях относиться не иначе, как только насмешливо; но он, как и его начальник штаба, все еще не свеял с себя горечи вчерашней неудачи, поэтому он предостерегающе поднимал в сторону Ольхина палец и бормотал:

— Цыплят по осени считают... по осени... по осени...

Глухо из-под земли начали доноситься со второй линии неприятельских окопов взрывы.

— Ага! Наши гранатометчики, наши работают! — радостно закричал Ольхин.

— По-чем вы знаете, а? По-чем вы знаете, что наши, а не ихние? — пробовал даже возмутиться этой преждевременной радостью Гильчевский и не мог: ему тоже казалось, что так рваться могут только русские гранаты!..

Одна за другой бежали в проходы и уже без задержки спрыгивали в глубокие окопы мадыар, как в свои, роты вторых батальонов. Вот на высоте 125 появились кучки австрийцев с пулеметами, однако не успели пристроиться, чтобы обстрелять штурмующих, как были обстреляны сами снарядами гаубичной батареи и разбежались, бросив пулеметы и несколько убитых возле них.

— Так их, та-ак! Так-так-так, — молодцы! — кричал теперь уже сам Гильчевский по адресу батарейцев. — Крой их, вонючих, кро-ой!

«Вонючими» стали у него австрийцы только сегодня, когда вздумали взяться за удушливые газы: раньше Гильчевский отдавал дань уважения своим противникам за их благоустроенные деревни, в которых улицы были щедро посыпаны гравием, за то, что вместо наших грунтовых дорог, непроезжих осенью и весной, у них везде шоссе, как везде линии телеграфных и телефонных столбов, и повсеместны указатели, благодаря которым безошибочно можно было двигаться в любую сторону, не прибегая к опросам местного населения, не всегда ведь толкового, а иногда даже и сознательно долго скребущего в затылке, прежде чем ответить что-нибудь такое, что совершенно сбивало с толку.

Враг с сегодняшнего утра стал в его глазах подлым, и, чувствуя к нему личную озлобленность, Гильчевский понял, наконец, что та же озлобленность теперь у всех от мала до велика в его дивизии, и что поэтому неуспеха быть уже не может, как вчера, а непременно должен быть и будет успех.

Движение рот, одна за другой идущих на штурм, было исключительно дружным, и самое дело штурма чем дальше, тем быстрее текло. Вот уже на той верхушке высоты 125 появились, взамен еще недавно там бывших австрийцев, кучки бойцов 401-го полка: вот они осматривают и забирают с собою брошенные противником пулеметы; вот они, не мешкая ни минуты, переваливают через гребень к третьей линии укреплений.

— Смотрите, — пленные, пленные! Пленных ведут! — кричит раскрасневшийся от радостного волнения Ольхин, и Гильчевский видит, — действительно, группа австрийцев идет под конвоем, а навстречу этой группе бегут и потом проваливаются в окопы и ходы сообщения, кажется, уже четвертого батальона какого-то полка роты... Какого именно, — 401-го или 402-го — трудно уж и следить стало от влаги, заволакивающей старые глаза.

Вот и на высоте 100 свои, — значит, и она взята, а пленные австрийцы группа за группой идут сюда безостановочно, — два потока движутся: свои — широкий, туда, и враги — узкий, сюда, свои вытесняют врагов, свои занимают их окопы, свои бегут и бегут вперед молодцами, как и надо...

— Как думаете, больше уж, пожалуй, их будет, чем вчера? — кивает на пленных Протозанову Гильчевский.

— Куда там вчера! Гораздо больше! Победа, Константин Лукич! — кричит Протозанов.

— Победа, победа, — ура! — подхватывает Ольхин.

Оба они кричат, потому что возбуждены, но артиллерия, как своя, так и вражеская, уже умолкла, а винтовочные выстрелы и короткие очереди пулеметов доносятся теперь уже издали, с того склона высот, откуда все подходят, од-

на крупнее другой, новые и новые кучи пленных.

— Ого, ого! Поздравляю! — кидается Ольхин к Гильчевскому.

Тот обнимает его, стряхивая непрошенную слезу на его мощное плечо, и говорит вдруг торопливо-начальственно:

— Поезжайте же за своим полком, — придвиньте его сюда! Сейчас я пушу в наступление свой последний резерв: куй железо, пока горячо!

— Слушаю, ваше превосходительство! Через три четверти часа тут будет мой полк! — говорит Ольхин, уходя поспешно.

А на наблюдательный пункт начальника дивизии сходятся теперь уже отдышающиеся командиры тяжелых батарей, чтобы тоже поздравить с победой, а горные батареи уже снимаются с позиции, чтобы мчаться вперед через заготовленные заранее мостки над ходами сообщений и палить по отступающему неприятелю вдогонку.

4.

Когда Шангин дал знать Ливенцеву, что пришло время ему передвигать свою роту в передовые окопы, чтобы оттуда бросить ее на штурм, Ливенцев не представлял еще, что ждет его солдат там, наверху, где перестала уже греметь канонада. Он не знал и того, что было уже известно Гильчевскому и его штабу; он знал только одно и знал твердо, что ему самому придется бежать впереди роты, что бы там ни было впереди: пулеметы, огнеметы, минометы или только те же самые австрийские винтовки, какие были и в руках его бойцов. К этому он уже приготовился. По опыту он знал, что стоит только ему начать бежать с криком «ура», непременно найдется несколько человек из молодых солдат, которые его обгонят, и тогда ему, в свою очередь, надо будет догонять их, чтобы руководить рукопашным боем. Так как ум у него был насмешливый, то про себя он добавлял, думая об этом: «Необходимо в такие моменты, чтобы физиономия была наводящая ужас на неприятеля и возбуждающая невольное уважение к тебе у подчиненных». Почему-то

бывает во время штурма именно так, что зверские лица точно вынимаются ради этого из вещевых мешков и приклеиваются моментально поверх обычных лиц; добродушие же исчезает даже из самых кротких в мире глаз, что, конечно, само собою понятно: откуда и взяты добродушие, когда люди бегут навстречу своей смерти и с чужою смертью, крепко, изо всех сил, зажатой в руках?

Он как бы раздвоился в эти моменты перед действием вместо того, чтобы быть собранным, но это была только старая привычка его наблюдать за собою со стороны. И когда он беспокойно думал о том, как ему надо сделать, чтобы не потерять руководства ротой там, в австрийских окопах, где в темноте и тесноте рассыплются его солдаты, — кто-то другой в нем как будто недоуменно пожимал плечами перед такою бренной заботой.

— Рота, вперед! — скомандовал Ливенцев, и рота пошла, и сразу ясно стало, что не о чем больше думать, что дальше всё случится само собою, только бы вырваться из своих окопов и увидеть чужие, теперь, впрочем, уже занятые своими или ставшие просто проходным двором: предвидеть заранее, что может встретиться роте там, наверху, все равно было нельзя.

Рота шла гуськом, змейкой вытягиваясь по ходам сообщения, поспешно и молчаливо. Но чем ближе подходила к передовым окопам, тем оживленнее становились в ней все. «Победа!.. Бегут венгерцы! Сдаются в плен!..» — это слышали находку чаще и чаще от встречных раненых и вот начали выбираться, наконец, из своих окопов наружу, и первыми Ливенцев с Некипеловым: нужно было осмотреться, куда и как вести роту.

В несколько коротких, но ярких моментов Ливенцев вобрал в себя: тела убитых впереди, в проходе; разорванная проволока задралась кверху, блестит; пара сапог торчит из воронки, венгерские окопы совсем недалеко, — добежать можно в две-три минуты; бруствер их — рыжий, на нем местами тела вповалку; выше — еще линия окопов,

блестит задранная проволока, валяются убитые, но их больше: не попали ли под фланговый пулеметный огонь с соседней высоты 125?..

— Наши уж просмолили дальше! — говорит Некипелов и кричит солдатам: — Скорей-скорей, вы, там! Какого чорта возитесь!

А Ливенцев не знает, как лучше сделать: дожидаться ли, когда выберутся из окопов наружу все в его роте, или ждать не стоит, а бежать с теми, кто уже вылез, оставив других на Некипелова? И тут же решает: «Выиграешь в скорости, — потеряешь в силе, — нельзя... А главное, потеряешь руководство ротой...»

Он знает, что сзади теперь напирает на его роту четырнадцатая, а на ту — пятнадцатая: ему кажется, что он тормозит порыв всего батальона, а между тем его солдаты сами спешат вылезть из окопов, помогая один другому, и время, потраченное ими на это, в сущности, ничтожно, самое же важное то, что он осознает: обе высоты спереди молчат, ружейные выстрелы доносятся только с задних их скатов.

«Мы — для отражения контратаки мадьяр... они теперь так же спешат отбить эти высоты, как мы спешим их занять», — думает Ливенцев в то время, как последние из его роты вылезают, и, не дожидаясь уже каких-нибудь пяти-шести отсталых, он командует, выхватывая револьвер из кобуры, — командует с огромным подъемом, на какой только способен:

— Рота, вперед, за мной!

Он бежит сам, едва через плечо оглянувшись назад.

Сначала он слышит за собою только топот многих ног и вспоминает вдруг, что нужно было ему крикнуть еще и «ура», — однако тут же кто-то сзади, должно быть, Некипелов, исправил его ошибку, и дальше он бежал, крича «ура», как и вся его рота.

По передовым окопам мадьяр и дальше по ходам сообщения расставлена была цепочка из солдат 402-го полка, указывавших, куда бежать дальше. Ливенцев счел это за предусмотрительность полковника Кюна, но Кюн, как и коман-

дир 401-го полка Николаев, получил точный приказ Гильчевского о всем порядке штурма: через какие именно проходы вести роты на штурм, через какие санитарам выносить и выводить раненых и через какие вести в тыл пленных; только начальник дивизии, сам руководивший штурмом, а не сидевший в безопасном месте в тылу, мог и дать такой приказ, чтобы ни пленные, ни свои же раненые не тормозили дела.

Пленные? — Толпу их увидел мельком Ливенцев, едва задержав на них глаза, когда пропускал первые ряды своих солдат в мадыарские окопы и готовился прыгнуть туда сам. Пленных вели стороною, лощинкой, спускавшейся с высоты 100 к ручью Муравица. Они шли открыто, и он подумал, почему же ему не вести свою роту так же открыто прямо ко второй линии укреплений? Но цепочка из солдат стояла не на открытом склоне, теперь безопасном, однако сплошь почти опутанном где разорванной, а где и нетронутой еще проволокой на кольях, где поваленных набок, где стоячих. Наконец, мадыары могли обстрелять склон этот гаубичным огнем, и неизвестно еще, короче ли этот «прямой» путь до их третьей линии укреплений.

Самым важным казалось теперь Ливенцеву привести туда, где еще дрались мадыары, не беспорядочную кучку солдат, а действительно роту — четыре взвода, восемь отделений с их командирами, с полными подсумками патронов. И, когда он заметил, обернувшись назад, как со всех ног бегут догонять своих несколько человек отставших, он успокоенно почти мешком свалился в первый австрийский окоп, какой пришлось ему увидеть здесь, на Воляни.

Дивизия занимала большой участок фронта — двенадцать верст, так что на каждый из двух атакующих полков приходилось по шести. Однако занять людьми все шесть верст даже только одних передовых окопов так, как требовала обстановка, создававшаяся к концу мая (началу июня), не могли австро-германцы. Силой своих укреплений они думали заменить недостающие живые силы, как искусственным бензином из

угля заменили бензин из нефти; на место отдыхающей на русском фронте тактики они выставили фортификацию — в масштабах, еще не виданных в мире. И вот русская тактика победила, и сознание того, что он — тоже участник победы, необычайно, как он и не думал даже, волновала радостно математика в рубахе защитного цвета — Ливенцева.

Если галицийские окопы австрийцев казались ему, по сравнению с русскими, образцом строительного искусства в земле, то воляньские, — он видел, — далеко превзошли те. Они были и глубоки, и сухи, и чисты, — вполне безопасные от тяжелых снарядов полевой артиллерии, вполне обжитые за девять месяцев подземные галереи, со стенами, забранными досками, с настоящими полами, — не окопы — дачи, так это казалось теперь, в конце весны, когда все жители больших городов неудержимо рвутся на лоно природы.

Конечно, бомбардировка двух предыдущих дней, а может быть, и только-что умолкшая испортила кое-где дачное благополучие окопов: были кое-где проломы, торчали бревна концами вниз, а под ними кучи земли, свалившейся сверху, громоздились на полу, и приходилось пробираться вперед уже не во весь рост, а согнувшись; кое-где приходилось обходить тела убитых; где-то пришлось несколько шагов сделать по мягкому, — тут свалены были в кучу бинты и вата, — знак того, что здесь был перевязочный пункт, поспешно оставленный...

Цепочка солдат вывела роту в ходы сообщений, тоже сделанные аккуратно, — Ливенцев даже подумал «любовно»: о побежденном враге можно уж было так думать. И вот — вторая линия укреплений, гораздо более мощная, чем первая: Ливенцев изумился тому, как можно было бросить такие блиндажи, в которых, как определил и Некипелов, «сорок лет сиди себе, посиживай, был бы только женский монастырь поблизости, а только, лиха беда, и есть не так далеко монастырь, так не совсем подходящий».

— А вы какой же монастырь имее

в виду? — спросил его находу Ливенцев.

— А вы разве не знаете, Николай Иванович? Так Почаевская же лавра от нас верстах в тридцати пяти, люди говорят, если не врут! — весело ответил Некипелов.

О том, что знаменитая Почаевская лавра так, сравнительно, близко, Ливенцев, действительно, не удосужился узнать, но его удивила явная веселость сибиряка, точно шел он не с ротой на где-то там впереди еще упорно сражающихся мадьяр, а со своей сестрой Дуней после удачной охоты.

Впрочем, как заметил он, у всех в роте настроение было приподнятое, хотя никто ничего еще не ел с утра. И никто не задерживался, как он побаивался перед штурмом, чтобы пошарить под нарами и койками в окопах, не стоят ли где бутылки с ромом и жестянки с консервами.

Даже любитель «настоящей пищи» Кузьма Дьяконов проворно шагал вместе с другими в неведомое грядущее, теперь уже, видимо, никому не казавшееся мрачным.

5.

Четырнадцатая, пятнадцатая, а вслед за ними и шестнадцатая рота, с ее тяжеловатым и староватым корнетом Закопыринным, подпирала тринадцатую, — это придавало ей тоже немалую бодрость.

Но следом за шестнадцатой ротой двинулись батальоны 403-го полка, — общий поток дивизии сделался совсем неудержимым, она уже бросала свои окопы надало, навсегда, чтобы итти вперед, далеко, как можно дальше, — на Броды, на Луцк, на Ковель — и куда бы ни приказал командарм!

Это был знаменательный день. Этого дня долго ждали. В этот день далеко не все и верили, однако же он настал в посрамление малOVERам. Если не день настоящей пищи, то настоящий день.

Уже гремели по мосткам сзади пехоты упряжки лихой горной артиллерии. И если четвертый батальон 403-го полка видел, как упряжка за упряжкой по

трудным проходам в проволочных заграждениях пробиралась на вершину высоты 125, то в роте Ливенцева, добравшейся, наконец, до заднего ската своей высоты 100, видели, как батареи горных орудий догоняли своими снарядами поспешно отступающих мадьяр.

Да, они уж не сопротивлялись больше. Главные силы их видны были уже далеко и даже еле видны в облаке поднятой ими пыли. В то время, когда шла тринадцатая рота и слышна была ружейная стрельба, это только вяло выполняли свое назначение арьергардные отряды, оставленные для прикрытия отхода главных сил, начатого под надежным занавесом обеих высот.

Штурм, проведенный накануне, как бы он ни казался неудачным самому Гильчевскому, поколебал решимость мадьярских полков защищаться до последней крайности, а выход им во фланг прорвавшейся 14-й дивизии создавал для них явную угрозу обхода.

Все это стало вполне ясно Гильчевскому после беглого опроса пленных, которых к трем часам дня набралось уже в колонии Новины до четырех тысяч, — из них около сотни офицеров. Больше всего попало в плен из образцового венгерского 38-го, короля испанского полка, оставленного в арьергарде, как полк, наиболее надежный из всей дивизии.

Донесения шли за донесениями, и все радостные.

Захвачено было свыше десяти орудий и бомбометов, несколько пулеметов и минометов, семь тысяч винтовок, большие боевые запасы, брошенные венгерцами, и 25 верст конной железной дороги. А потери по общей сводке трех полков едва дошли в этот день до трехсот человек.

Мало того: отличился и 404-й полк, переданный комкором Федотовым в 105-ю дивизию. Находясь по соседству, он не захотел отстать от своих трех полков, кинулся в прорыв и сумел захватить полторы тысячи пленных.

— Теперь вопрос: в мою или в 105-ю дивизию будут приписаны эти пленные? — негодуя спрашивал приведенного свой полк Ольхина Гильчевский.

— Практика войны показала, что подобные пленные поступают на счет той дивизии, к какой полк временно был прикомандирован, — отвечал Ольхин, — но я лично считаю это неправильным.

— Ага! Вот в том-то и дело! Неправильным, да, и даже мало того, — преступным, вот что я должен сказать!.. Полк в данном случае действовал один? — Один! — Помогла ему 105-я дивизия? — Нет, нисколько! — Так на каком же основании у 101-й дивизии отнимать этих пленных, а 105-й дарить?

— Ваше превосходительство, прошу не забывать, что мой полк так же точно прикомандирован к вашей дивизии, — пленительно улыбаясь, отозвался на это Ольхин. — Так что, если он в будущем возьмет сколько там-нибудь пленных...

— То они пусть и считаются вашей финляндской 2-й стрелковой дивизии, — перебил Гильчевский, — а мне чужого не надо. И вообще-то зачем было нашему комкору брать полк у меня, а вместо него прикомандировывать ко мне ваш, хотя бы и в двадцать раз лучший? Зачем делать это вавилонское смешение языков? Ведь из этого может быть в конце-то концов только кавардак! Или, как поется в какой-то дурацкой песне:

Сидела чéсна братия в царевом кабаце,
И всяк из них говаривал на своем языке!

Так или иначе, а сейчас мне надобно схватить догонять полки. Вот пообедаем и тут же я поеду. И выведите форсированным маршем свой полк, стараясь держаться на правом фланге. Пленных же забирайте, сколько вам посчастливится взять, — моя дивизия на них притязать не будет, а вам желаю успехов, каких вы, по всем видимостям, вполне заслуживаете.

Наскоро пообедав и сделав несколько главных распоряжений остающимся, Гильчевский верхом, со своим штабом тоже на лошадах, помчался догонять полки, увлекшись преследованием венгерцев.

Кавалькада взобралась на высоту 125, еще вчера казавшуюся неприступной. Оттуда должны были развернуться широкие горизонты, — так ожидал

Гильчевский; они и развернулись, но ни сам начальник дивизии, и никто из его штаба не мог обнаружить ни одного из полков.

Правда, местность была пересеченная, лесистая, весьма неудобная для наблюдений даже с такой высоты. Только где-то очень далеко в направлении на юго-запад видно было широкое черное полотно дыма.

— Эге, жгут свои склады, должно быть, немцы, чтобы они не достались нам! — сказал Гильчевский и направил своего серого, секущегося на недавно перелинявшей шее, донского коня в сторону этого дыма.

Попадавшиеся навстречу отсталые и раненные солдаты тоже махали в ту сторону руками, когда к ним обращались или сам Гильчевский, или кто-либо из штаба с вопросом, куда пошли полки.

Дорог в тылу австро-германцев оказалось много, однако небольшие клочки лесов неизменно на топких болотах все-таки способны были сбить с толку людей в горячке преследования такого легконового противника; этого и опасался Гильчевский.

Рысили уже больше часа, когда вдруг заметили в стороне на холме деревню, возле которой толпилось много русских солдат, — видимо, даже расположившихся на отдых.

Это встретило Гильчевского:

— Чорт знает что! Чьи же они такие, надо бы узнать... Не допускаю мысли, что мои, однако... Чем чорт не шутит!.. По плану тут, кажется, должна быть деревня или хутор Пьяново.

Как-раз шли по дороге два старика со строгими желтыми лицами, в широкополых соломенных брилях, в белых рубахах, забранных в нанковые шаровары; к ним и обратились:

— Это что за деревня такая?

— Деревня?.. Яка деревня? — начал озирается старики. — Оця деревня? — Ну, да вот эта самая!

— Ця деревня, паночки, кажут люди, — Пьяне, — расстановисто сказал один старик.

— Эге ж, — Пьяне, пане полковнику, — обращаясь к Протозанову, подтвердил другой.

— Ну, знаете, если Пьяне, то это наводит меня на размышление, — заметил Гильчевский, упорно вглядываясь в солдат в свой бинокль. — Мне кажется, что это люди одного из наших полков, а?

— Как же могли они так забрать в сторону? — раздумывал Протозанов, когда Гильчевский сказал вдруг решительно:

— Вижу! Это 402-го полка люди. Едем туда.

И он направил своего серого к деревне Пьяне, переменяя аллюр.

Теперь вся кавалькада скакала галопом, и Гильчевский все больше укреплялся в своей догадке, что деревня эта не зря получила такое имя.

— Ведь они же не слепые там все, — они должны нас видеть, как и мы их, — возмущался он, — почему же они так расселись кружками и что они могут там такое делать с преувеличенным вниманием?

— Не водку ли пьют? — догадался Протозанов.

— Вот то-то и есть, что не пьют ли!

Скоро ясно стало для всех: в деревне Пьяне шло пьянство, и пьянствовал третий батальон.

Он делал это вполне разрешенно, так что даже перед подъехавшим к первому кружку начальником дивизии с его штабом далеко не все солдаты встали.

— Что за чорт! Какая рота? — крикнул Гильчевский, глядя на унтер-офицера с тремя басонами, стоявшего впереди других.

Багровый и потный унтер-офицер, не успевший поставить наземь бутылку, которую держал в руке, приосанясь, ответил без запинки:

— Одиннадцатая рота Усть-Медведицкого полка, ваше превосходительство!

— А где же командир роты, а?

— Где-сь отдыхают, ваше превосходительство...

Унтер-офицер добросовестно, оглянувшись, пошарил даже глазами между хатами, не найдется ли где прапорщик Обидин, но Обидин в это время, сидя на крылечке одной из хат, в благословенной тени, за столом, вместе с супругами Капитановыми и остальными ротными командирами третьего батальона,

пил из стакана коричневый токай, оказавшийся довольно коварным вином: оно не казалось крепким, только вкусным.

— Вот это вино, так вино, — говорил Капитанов, причмокивая и блаженно нюхая усы.

— А кто приказал батальону повернуть сюда? — Я! — Разве тебе пришло бы это в твою лысую голову? — торжествующе возглашала мадам Капитанова.

Очень скоро настроение у всех за столом стало весьма повышенным, но подлинным героем дня чувствовала себя эта дама-казак. Она сидела рядом с Обидиным и относилась к нему с самой бесцеремонной нежностью, то-и-дело ероша его волосы и сама подливая ему вина в стакан, и называя Пашенькой.

Обидин при таком с ним обращении совсем не чувствовал себя неловко: он уже вполне привык к нежностям своей командирши, как привык сам Капитанов к бесцеремонностям супруги. Другие же ротные командиры, — все прапорщики были так же, как и Обидин, молодой народ, только смотрели на вещи гораздо проще, чем их товарищ, пытались не принужденно острить и хохотали весело и громко.

Остроухий серый конь с кровавыми полосками на худой шее, а на нем — начальник дивизии, известный своим крутым нравом, потом полковник Протозанов на гнедой лошади, и еще несколько человек штабных, — вся кавалькада эта появилась перед крыльцом до такой степени неожиданно и внезапно, что все встали, оцепенев; не растерялась одна только Капитанова.

— Это что за ка-бак та-кой? — загремел Гильчевский. — Весь батальон валяется пьяный! У всех бутылки в руках!.. И это в то время, когда ведется наступление!.. И попали чорт знает куда-то в сторону!.. Командир батальона!

— Я, ваше превосходительство! — попытался сказать поотчетливей и стать так, чтобы быть повиднее, Капитанов.

— Ка-ак вы смели допустить такой разврат, а? — обрушился на него Гильчевский. — Если даже вас занесло почему-то к чорту на кулички, где оказал-

ся склад вина, то вы-ы должны были немедленно его уничтожить!

— Вот мы его и уничтожаем, — вступила в разговор с разгневанным начальством дама-казак, — а вы совершенно напрасно горячитесь по пустякам.

Капитанов хотел было остановить свою супругу умоляющим взглядом, но не успел в этом.

— А вы, вы кто такой? — остолбенел было Гильчевский.

— Во-первых, я-не «такой», а «такая», а во-вторых... — начала было объясняться Капитанова, но Гильчевский уже узнал и вспомнил ее.

— В обо-оз! — загремел он. — В обо-оз, сию минуту!.. И чтоб я вас больше никогда не видел в строю-у!.. В обоз!.. А ба-тальону сейчас же строиться и итти форси-ро-ван-ным маршем на деревню Надчицу, догонять свой полк!

И Гильчевский со штабом дождался, пока офицеры, так не во-время занявшиеся кутежом, празднуя не ими добытую победу, разошлись колеблющейся походкой по своим ротам, и роты тронулись в одну сторону, в ту, которую им указали, на деревню Надчицу, а дама в бешмете, которая, как и муж ее, ехала верхом, повернула в сопровождении данного ей Гильчевским ординарца в «обоз», то-есть в тыл полка: несколько протрезвев, она поняла, что теперь, пока начальник дивизии слишком разгорячен, лучше не протестовать, а подчиниться.

Гильчевский же говорил, глядя ей вслед, Протозанову:

— Я терпел ее, когда дивизия сидела в окопах, и то, вы знаете, скрипя зубами терпел, но теперь, когда мы наступаем и когда она мне тут портит и офицеров, и весь батальон, — не-ет уж, — теперь атанде сказал Липранди, — теперь надо ее совсем удалить с фронта!

Дав направление заблудшему батальону, Гильчевский оставил его, когда начало вечереть, однако, хоть и неплохо скакали кони, догнать своих полков до наступления темноты не смог. Встретились только несколько рот из другой

дивизии, — четырнадцатой, тоже каким-то образом отставшие от своих частей.

Между тем, небо в нескольких местах озарилось огнем пожаров: это австро-германцы жгли свои склады, весьма стремительно откатываясь на запад.

Деревня Надчица находилась от линии фронта в пятнадцати верстах, и было уже близко к полночи, когда наткнулись в темноте на 403-й полк, подходивший как-раз к этой деревне, а несколько впереди их оказались и два других полка, и Гильчевский дал отдых и усталым людям, и себе до рассвета.

Укладываясь спать в одной из халуп, он ворчал по поводу венгерцев:

— Можно, конечно... приходится иногда отступать, на то и война с переменным счастьем, но чтобы так можно было драпать во все лопатки, как эти мадьяришки, это уж последний крик моды!

Глава десятая

ОТЗВУКИ ПРОРЫВА

1.

В двадцатых числах мая в Ставке собралась вся царская семья.

Потому ли, что весною и счастливых тянет вдаль, потому ли, что «счастливые» уже начинали тревожиться за свое счастье, так ли оно прочно и долговечно; потому ли, что царице хотелось быть ближе к своему слабохарактерному супругу, чтобы в критический момент самой стать на страже интересов династии, — но она уже водворилась в Ставке, заняв в ней половину царского дома и тем нарушив весь «холостой» строй жизни многочисленной свиты царя и поставив ее уплотниться на второй половине.

Впрочем, древний годами граф Фредерикс, гордившийся тем, что 60 лет уже состоял в офицерских чинах, 35 лет — в генеральских и 25 лет на посту министра Двора, собирався ехать в отпуск; генерал По, всенный представитель Франции, тоже уезжал в Ессентуки лечиться от подагры; дворцовый комендант Воейков тоже уезжал к целебным

водам своей «Куваки», причем испросил у царя разрешение отправить на работы к нему в имение и на станцию Воейково для ее расширения шестьсот пленных из только-что взятых армиями Брусилова.

В связи с этим царь издал указ «обратить немедленно к работам внутри империи» многочисленных пленных, так как в результате мобилизации общее количество работников на полях сократилось почти вдвое, а фронт уже и теперь жаловался на недостатки не только боевых, но и съестных припасов.

Со стороны царицы препятствий к этому указу не было, так как пленные на Юго-Западном фронте были главным образом чехи, мадяры, босняки, хорваты, словаки, — вообще подданные Габсбургов, а не Гогенцоллернов. В покровительстве же своим немцам, как своим, так и чужим, она оставалась неизменной.

Так, когда были изобличены два молодых вольноопределяющихся с немецкими фамилиями в том, что у них и подданство германское, и они — не больше как шпионы, имеющие чины лейтенантов германской армии, — следствие по их делу, порученное сенатору Кауфману, было прекращено по требованию царицы. Сильную заступницу в ее лице нашел и бывший командующий 1-й армией — генерал Ренненкампф, оставивший без всякой помощи со своей стороны Самсонова с его 2-й армией, разгромленной Гинденбургом при Сольдау.

Мало того, что ближайшие родственники Ренненкампфа оказались германскими подданными и жили в Германии, но ревизия по делу о нем, тянувшаяся довольно долго и только-что, в апреле, напечатывая материалы следствия, собрала этих материалов пять толстых томов, в которых на каждой странице пестрели слова: «взятничество, лихоимство, мздоимство». Казалось бы, что все должны были отвернуться от такого «деятеля во славу русского оружия», однако перед своим отъездом в Ставку царица дала аудиенцию этому мерзавцу и милостиво беседовала с ним около часа.

Четыре царских дочери, появляясь вместе около ли дома, или в аллеях до-

вольно скромного, впрочем, по своим размерам парка,—в белых ли платьях и белых шляпках с белыми перьями, или в красных, как две старшие, или в серых, как две младшие, все-таки разнообразили унылый в общем пейзаж Ставки.

Они весело улыбались, перекидывались шутками и смеялись, когда были одни. Но картина резко менялась, когда к ним выходила мать. Оледенявшая всех кругом себя, она ледянила и своих дочерей.

Она говорила так мало, будто разучилась уже говорить, и ей стоило большого труда вспомнить то или иное общеупотребительное слово. На лице ее почти бессменно во всех уголках и впадинах таилась брезгливость, и она не могла или не хотела согнать ее даже тогда, когда была только с дочерьми и сыном.

Наследник, правда, не стеснялся этим и, в силу своего бойкого темперамента, проказничал, как мог: щипал сестер, дул в бутылку, бросал в своего дядьку Деревенко пригоршни песку.

День 25 мая был высокаторжественный — день рождения царицы; к этому дню наследник был произведен в ефрейторы, и дядька его, матрос Деревенко, сделанный кондуктором флота, сам пришел к его погонам по серебряному лычку, что очень понравилось мальчику, которому только больная нога мешала бурно проявлять свою радость.

В этот день другая хромоногая из членов царской семьи — бывшая фрейлина Анна Вырубова прислала царю поздравительную телеграмму не с победой на Юго-Западном фронте, а с днем рождения Александры Федоровны: «Горючо поздравляю всем сердцем, помоги всесильный господь. Серенький день, еду в собор, после в ванну. Очень одиноко. Аня». Телеграмма эта была из Евпатории, где она лечилась.

А накануне пришла на имя царя телеграмма из Петрограда: «Государю императору. Славно бо прославился у нас в Тобольске новоявленный святи-тель Иоанн Максимович, бытие его возлюбил дом во славе и не уменьшить его

Ваш и с Вами любить архиепископство, пушай там будет он. Григорий Новых».

В аппаратной, принимавшей эту телеграмму, ничего в ней не поняли и даже послали запрос в Петроград, так ли приняли; оказалось, что вполне точно. Но о чем именно телеграфировал друг царя — Гришка Распутин, в Ставке так и не разгадали.

В Ставке, если кто и переживал по-настоящему радостно успехи армий Брусилова, то два представителя Италии, — старый, еще не собиравшийся уезжать Марсенго, и новый, приехавший только в начале мая, граф Ромео. Они двое были и по-настоящему празднично настроены в день 25 мая, когда Ставка официально отбывала придворный праздник; когда после обеда все чины Ставки, начиная с Алексева и Пустовойтенко, проходили в зале шеренгой в затылок мимо царя с наследником, обмениваясь с ними рукопожатием, и мимо царицы с дочерьми, тоже построившимися в шеренгу, целуя их руки.

Постороннему наблюдателю не могло не показаться в этот день, что из всех стоявших в православной церкви, наиболее истово молились эти два католика — граф Ромео и Марсенго; что из всех поздравлявших царскую фамилию России наиболее преданные ей были эти два итальянца — граф Ромео и Марсенго; даже и за обедом, хорошим, правда, но не роскошным, и с русскими винами в кувшинах старого серебра, наиболее довольными и русской кухней, и русскими винами были эти два поклонника своего вина кианти — Марсенго и граф Ромео.

Они получили уже телеграммы, что, благодаря победам армий Брусилова, австрийцы на плоскогорье Азиаго приостановили свое наступление, что спешившие к ним в подкрепление корпуса отзываются обратно на русский фронт.

В Ставке ходила по рукам и телеграмма от адмирала Веселкина, русского военного представителя в Румынии, такого содержания: «В совете министров в Бухаресте на вопрос короля о здоровье министра Филиппеско ответил: «Наконец я попал на хорошего доктора — Брусилова. Сообщаю вам этот курьез».

Телеграмма была адресована адмиралу Нилову и не была секретной.

Между тем, Ставка, отпраздновав день рождения императрицы, тут же начала готовиться к другому празднеству, гораздо более торжественно обставленному, а именно: нужно было принимать икону божьей матери, называемую Владимирской, отправленную из московского Успенского собора. Разрабатывался ритуал встречи этой иконы на вокзале, куда должны были идти войска и ехать в автомобилях царь с наследником и всем семейством, его свита и чины штаба.

С подобной торжественностью в Ставку доставлялась в августе 1914 года другая икона — явление божьей матери Сергию Радонежскому. Она была написана на доске от гроба Сергия, и посылаала ее Троице-Сергиева лавра.

Эти внеочередные события и заботы как-то не давали Ставке ни возможности, ни даже времени сосредоточиться на телеграммах Брусилова, подводивших итоги наступательным действиям его войск за первые три-четыре дня.

Одни, — к ним относился и сам Алексеев, — их просто не ожидали, этих успехов, и теперь не знали, как их оценить: принимать ли их всерьез или отнестись к ним выжидательно и осторожно, или даже счесть эти успехи раздутыми ложными донесениями командиров отдельных частей, сумевших втереть очки командармам — Сахарову и Каледину.

Количество пленных было определено в сорок тысяч за три дня, не считая офицеров, которых будто бы насчитывалось до тысячи человек. Отрицать этот успех, конечно, не приходилось, но в то же время в нем было и кое-что нежелательное для Ставки, в этом успехе: с ним просто не знали, что делать дальше, он путал все карты, сводил на нет все заготовленные уже распоряжения об отправке таких-то и таких-то пехотных частей, таких-то и таких-то артиллерийских парков, таких-то и таких-то, и столько-то боеприпасов в ударные армии Западного фронта, к Эверту, а также на Северо-Западный фронт —

к Куропаткину. Становилось даже как-то досадно за путаницу, внесенную в долгие и строгие соображения и расчеты неожиданно крупными размерами Брусиловского прорыва. В то же время это был не прорыв, а, действительно, прорывы в нескольких местах, как и готовил их Брусилов и о чем он говорил в Ставке 1 апреля на совещании в присутствии царя, — это тоже было неприятно и всей Ставке в целом.

Выходило так, что успехом увенчалось довольно дерзкое предприятие, начатое вопреки всей практике войны с немцами и даже вопреки желанию царя, чтобы прорыв подготовить и провести в каком-нибудь одном месте фронта, не разбрасываясь в силах. Успех Брусилова заставлял прибегнуть к старой поговорке: «Победителей не судят», но от этого не могло быть легче тем, которые осуждали заранее эту затею.

Наконец, в Ставке в эти дни был и генерал Иванов, для которого последним гвоздем в крышку его гроба был этот успех Брусилова.

Он все сделал и в марте, и в апреле, чтобы помешать Брусилову, объявить его праздным фантазером, поколебать доверие, которое вдруг, неожиданно для бывшего главнокомандующего Юго-Западного фронта, возымел к нему царь, подчиняясь советам, идущим извне, от союзников. Он не имел удачи, несмотря на помощь ему в этом и Фредерикса, и царицы: царь поддался другим влияниям и не захотел перерешать ни вопроса о назначении Брусилова, ни вопроса о наступлении армии Юго-Западного фронта.

Однако Иванов не хотел складывать оружия, которым он действовал. Он стал завзятым шептуном. Он бродил по Ставке и только и делал, что всем, с кем бы ни сталкивался, вещим, пророчески-таинственным, пониженным голосом предсказывал полный провал всего, начатого так, по его мнению, безрассудно, так опрометчиво, наступления. Он подымал указательный палец к бороде, выкатывал сильно запавшие глаза и шептал:

— Эта безумная затея окончится катастрофой, да, да, — прошу мне верить!.. Она окончится такой стра-те-ги-ческой трагедией, размеров которой никто пока даже представить не в состоянии. Прошу мне верить!

2.

Но, кроме Ставки, была Россия.

И если в Ставке семейный праздник царя и приготовления к достойной встрече иконы Владимирской божьей матери отняли у всех, исключая итальянцев, слишком много внимания, чтобы его хватило еще и на дела Юго-Западного фронта, то Россия следила за ними.

Она подняла голову, опущенную под впечатлением слишком многочисленных неудач в течение почти двух лет войны; в ее опечаленных глазах засветилась надежда, и с запекшихся уст сорвался возглас радости... Пусть не таким и громким еще был этот возглас — всего несколько сот поздравительных телеграмм, — но он дошел до Брусилова и сделал его счастливейшим человеком.

Волей своего правительства Россия лишена была гражданских прав, зато русский народ был горд своей военной мощью. Но вот этой законной гордости был в течение почти двух лет войны нанесен ряд ударов

Неужели все эти генералы, украшенные цветными широкими лентами и бесчисленными орденами, с такими длинными титулами, что их невозможно было и сказать за один прием, осыпанные с ног до головы всякими благами жизни, — неужели они все до одного оказались до такой поразительной степени невежественны в военном деле и так вопиюще бездарны?

И когда возникло там, на юго-западе тысячеверстного фронта, уже знакомое стране, но осиянное светом смелых действий и большой победы имя генерала Брусилова, люди протянули к нему руки.

Приветствия шли со всех концов России.

Председатель земского союза Львов прислал Брусилову такую несколько напыщенную телеграмму:

«Ваш меч, тяжелый, как громовая стрела, прекрасен! Молнией сверкнул он на Западе и осветил радостью и восторгом сердце России. Наши взоры, наши помыслы и упования прикованы к геройской и несокрушимой армии, которая с великими жертвами, полная самоотверженности, сметает твердыни врага и идет от победы к победе. С восторгом преклоняясь перед подвигами армии, мы одушевлены стремлением по мере всех своих сил служить ей и, чувствуя в эти дни вашу твердую руку, глубокую мысль и могучую русскую душу, всем сердцем хотим облегчить вам ваше почетное славное бремя».

В его лице, этого председателя союза всех русских земств, как бы на все сотни приветственных телеграмм сразу ответил Брусилов:

«Опираясь на могучий непоколебимый дух армии и при духовной поддержке всей России, глубоко и твердо надеемся довести победу до полного разгрома врага. От всего сердца горячо благодарю вас за истинно-патриотическое приветствие и приношу вам и всему земскому союзу мою искреннюю благодарность за приветствия и пожелания».

Имя Брусилова не сходило со страниц газет, как русских, так и иностранных, и это шло вразрез с установившейся уже в России почти полной анонимностью войны даже и в отношении генералов, так как верховным главнокомандующим был вначале великий князь Николай Николаевич, смененный потом самим царем. Какие же еще могли появиться герои? Ни малейшая тень чужого героизма не могла заслонять орла, сияющего над головами «верховных».

И если от Николая Николаевича из Тифлиса Брусилов все-таки получил телеграмму, состоящую из четырех только слов: «Поздравляю, целую, обнимаю, благословляю», и был этой теле-

граммой очень растроган, то царь хранил тяжелое молчание.

Он оставался так же непостижимо нем, как на совещаниях в Ставке 1 апреля.

— Однако я-то не могу быть немым, — говорил Брусилов утром 25 мая Клембовскому. — Я должен выяснить свое положение. Вопрос, когда же именно выступит Эверт, для нас коренной вопрос, поскольку мы только застрельщики. Соедините-ка меня со Ставкой.

Одно дело — штаб-квартира главнокомандующего фронтом, — совсем другое Ставка, где были в этот день свои неотложные и важные заботы. Разговор с Алексеевым удалось наладить только поздно вечером, но он не принес Брусилову никакой отрады.

— Генерал Эверт на мой запрос прислал сообщение, что он может быть готов к наступлению не раньше 5 июня, — сказал Алексеев по прямому поводу.

— Ка-ак так к 5 июня? — испуганно прокричал Брусилов. — Может быть, я ослышался? Может быть, вы сказали к первому, а мне послышалось к пятому?

— Нет, нет, именно к пятому, а не к первому, Алексей Алексеевич. Так что вот обойдитесь как-нибудь, а мы выкроим вам подкрепления...

— Помилуйте, Михаил Васильевич, — пока ко мне придет один корпус, немцы успеют подкинуть к своим целых пять, если не все десять! В какое же положение вы меня ставите?

— Что же я могу поделать с Эвертом, если он не готов?

— Как что? Как что поделать? — возмущился и смыслом, и самым тоном слов Алексеева Брусилов. — Приказывать быть готовым к первому числу, — вот что вы можете сделать! Приказать именем государя, — вот что сделать!

— Это не поможет, послушайте, Алексей Алексеевич! Что же и приказывать, если генерал Эверт и сам отлично понимает, что ему надо делать и что значит быть готовым.

— Понимает ли, — вот вопрос! И имеет ли желание понимать это, — вот другой вопрос!

— Ну, как так понимает ли! Разве у него нет опыта в наступательных операциях?

— Мне, как и вам, Михаил Васильевич, отлично известен этот опыт генерала Эверта, но ведь суть дела в том, чтобы он забыл этот опыт и начал дело сначала и заново! Печальные опыты необходимо забыть в интересах общегосударственного дела, — вот что я думаю! И я очень боюсь, что именно этот свой опыт мартовских боев генерал Эверт думает применить снова, почему и оттягивает начало. В марте он тоже оттягивал, пока не началась ростепель и распутица.

— Вы очень строги к генералу Эверту, Алексей Алексеевич!

— Я опасуюсь, что он, как опереточный жандарм, придет мне на помощь очень поздно!

Алексеев счел за лучшее не вступать в дальнейшие пререкания с главнокомандующим Юзфронта, сослаться на загруженность делами, пожелать ему дальнейших успехов и проститься, а Брусилов долго после того ходил взбешенно по своему кабинету и повторял:

— Какая подлость!.. Какая пакость!.. Вот и выбивайся из сил, а они пальцем о палец не желают ударить!

Он еще не знал того, что как-раз 25 мая (7 июня), когда к нему несся со всех концов России вихрь приветственных и благодарственных телеграмм, другой вихрь телеграмм, с содержанием прямо противоположным, мчался от австрийского командования к германскому. Смысл всех этих телеграмм был один: «Спасите нас, погибающих!» А частности таковы: австрийские резервы на русском фронте пришли к концу; вот-вот, если не подосплет помощь, вся армия окажется бывшей армией; 4-ю армию эрцгерцога Иосифа-Фердинанда (едва успевшего отпраздновать свой день рождения!) приходится уже и теперь перестать считать за армию, — она разгромлена; из общего числа в 486 ты-

сяч человек армия в целом потеряла не меньше двухсот тысяч...

Это был громовой удар с русского неба, которое так еще недавно, — всего несколько дней назад, — считалось совершенно безоблачным.

Телеграммы эти, — вопль раненного сердца, — ставили в труднейшее положение германскую главную штаб-квартиру. Затыкать австрийскую брешь было необходимо теми небольшими резервами, какие приготовил Фалькенгайн для своей армии на Сомме, где французы уже готовились перейти в наступление и только ждали, когда англичане перевезут все приготовленные ими для своей армии снаряды.

Но отдать эти резервы на австрийский фронт значило сорвать свою обдуманную операцию на Сомме, где германцы хотели предупредить наступление англо-французов и напасть сами.

Снимать дивизии из-под Вердена, где машина перемалывания французских войск работала безостановочно и успешно, но требовала, чтобы в нее бросали все новые и свежие свои войска, тоже никак не представлялось возможным: резервы были в обрез.

Фалькенгайн проклинал и день, и час, когда он позволил Конраду фон Гетцендорфу убедить себя, что русский фронт безопасен.

Только к концу лета должны были влиться в армию пополнения, а между тем он был, конечно, очень хорошо осведомлен о том, что против германских войск на востоке стоят у Куропаткина двойные силы, у Эверта — тройные, и что эти силы вот-вот будут тоже приведены в движение, иначе зачем бы они и собирались.

Он уже думал над тем, как было бы лучше сделать здесь, в виду неизбежности наступления обоих русских генералов: не отодвинуть ли линию обороны, чтобы ее значительно сократить и этим сделать более выгодной для защиты?

Но для этого нужно было бросить укрепления, над которыми сотни тысяч людей работали три четверти года, и переменить их на скороспелые и, быть

может, не везде удачные по своим природным данным.

Приходилось поэтому возложить надежду на медлительность англичан, без которых французы переходить в наступление не станут, потому что своими только силами действовать с уверенностью в успехе, конечно, не могут.

И вот, после долгих размышлений и колебаний, Фалькенгайн решил принести в жертву обстановке, создавшейся у австрийцев, свой план — самому напасть на союзников на Сомме, и взял из резервов пять дивизий для отправки на восток.

Знал или не знал он, что ни Эверт, ни Куропаткин не были для него опасны сами по себе? Может быть, даже и знал, но думал, что их могут заменить другими генералами, как бездеятельный Иванов был заменен энергичным Брусиловым.

Во всяком случае, едва ли он знал, что в то время, как он думал без боя очищать свой фронт против Эверта, сам Эверт говорил в интимном кругу:

— Брусилов думает, что я так вот и кинусь работать для его славы! Очень многого он от меня желает!..

Глава одиннадцатая

РЕКА ИКВА

1.

Местность к западу и югу от деревни Надчицы была богата водой и лесами, — это разглядел как следует Гильчевский утром 25 мая, — удобная для защиты, но гораздо менее удобная для наступления местность.

От Надчицы шла дорога на местечко Торговица, раскинувшееся как-раз при впадении довольно широкой, — в тридцать сажен, — реки Иквы в еще более широкую реку Стырь. О реке Икве со времени академии Гильчевский помнил, что она почти непроходима для войск, так как протекает по весьма болотистой и шириною в четыре версты долине, и вот теперь он был вблизи от этой реки, как и от другой, — Стыри. Занять ли-

нии обеих этих рек он получил приказ от комкора Федотова.

Федотов продолжал попрежнему сидеть в своей квартире, где частью по телеграфу, частью по телефону получал донесения от командиров обеих своих дивизий — 101-й и 105-й. За последние два дня он вырос в собственных глазах, так как получил во временное командование еще одну дивизию — финляндских стрелков, поэтому счел нужным прибавить себе важности даже и в тоне, каким было написано им добавление к приказу.

«В общем я должен сказать, — писал Федотов, — что немало удивлен тем обстоятельством, что вы держали дивизию в кулаке вместо того, чтобы развернуть ее возможно шире...»

— Тебя бы, тебя бы надо было держать в кулаке, чтобы ты мне дурацких замечаний не делал! — кричал на свободе Гильчевский, взъехав на высотку верстах в четырех от Надчицы вместе с Протозановым и оглядывая местность, сколько ее было отсюда видно.

— Совсем как в басне Крылова, — поддержал Гильчевского Протозанов: — «Знай, колет, — всю испортил шкуру!».

— В том-то и дело, что медведей эти господа комкоры предпочитают не видеть: на кой им чорт, скажите, пожалуйста, соваться к медведю? Гораздо безопаснее шкуру его делить!.. Ка-кой умница нашелся! «Развернуть возможно шире», — а сам же у меня отнял целый полк! Значит, находил же, что он мне не нужен, этот 404-й полк? А теперь, не угодно ли, «возможно шире». То один всего батальон расширился до деревни Пьяне, а то десять батальонов разошлись бы по деревням Пьяным! Вот это была бы дивизия, любезная федотовскому сердцу!

По карте, бывшей у Протозанова, Стырь протекала верстах в пяти от Надчицы, Иква — вдвое дальше от той же деревни. С той высотки, на которой стояли Гильчевский с Протозановым, видны были купола церкви в местечке Торговица, находившемся на высоком берегу Иквы.

Впрочем, и другой берег Иквы оказался здесь тоже довольно высокий, и оба были покрыты лесом.

— Картина — загляденье! — заметил Протозанов сознательно мечтательным тоном, чтобы отвлечь своего начальника от густых мыслей о комморе Федотове.

— Красота, что и говорить, — отозвался на это Гильчевский. — Важно только, чтобы не вскочила эта красота нам синяками да кровоподтеками.

План наступления на линию обеих рек был составлен им так, как будто в его распоряжении были снова все четыре полка: 6-й финляндский заменил 404-й и его, как совершенно свежий, он направил на Торговицу, предполагая там сопротивление австрийских арьберггардов.

Два первых полка своих он пустил на реку Стырь, чтобы обезопасить свой правый фланг и иметь их под рукою для форсирования Иквы, за которой, как донесли разведчики, тянулись позиции противника.

— Мосты на Стыри и мосты на Икве, — вот первейшее и главнейшее, что надобно вам занять, — говорил Гильчевский, напутствуя Ольхина и своего командира первой бригады. — Если допустите мадьяр сжечь мосты, то...

Договаривать, конечно, было излишнее.

С 403-м полком, идущим непосредственно за 6-м финляндским, ехал сам Гильчевский. Он, правда, облюбывал для штаба так же, как и Новины, чешскую колонию Малеванка, но не заезжал туда; он и небольшого дела не умел доверять кому бы то ни было, а тем более не хотел быть вдали от того серьезного, что ожидало его дивизию в этой многоводной, болотистой и лесистой местности, хотя на взгляд туриста она и была красивой.

Зелень деревьев была молодая, нежная, пышная; зелень трав в лесу буйная, — и Гильчевский говорил дорогой, дыша полной грудью:

— Эх, хорошо бы тут под сенью лип душистых водчонки тяпнуть да вяленой

воблой закусить... или копченой кефалью!.. Есть любители или той, или другой из этих рыбок, а я, признаться, и ту, и другую люблю одинаково пылко.

— Да, маёвочку бы тут неплохо сочинить, — места подходящие, — вторил ему Протозанов.

— Можно бы даже и полевою кашу сварить, — с раками! — Тут, я думаю, раков бездна... Кстати, слышал я что-то такое в детстве: «Через Тырь в монастырь» и не понимал, что это за «Тырь», а теперь вполне уверен, что не Тырь, а именно Стырь, к которой мы с вами едем... Уцелела, значит, в народе только рифма, а «С» отлетело, и смысл тоже испарился...

Как-раз в это время дружно заговорила артиллерия на подступах к Стыри, и Гильчевский умолк. Он подмигнул Протозанову и послал своего серого в сторону все разгоравшейся с каждым моментом пальбы.

Хотя ехать напрямик через лес было бы гораздо проще и ближе, но в стороне, правее от дороги, Гильчевский заметил широкую луговину, переходившую в лесную поляну, которая могла вывести если не к реке Стыри, то куда-нибудь на открытое место, откуда было бы видно, что впереди происходит.

Около версты было до этой поляны, а разговор пушек становился все внушительнее, хотя действовала только легкая артиллерия с той и с этой стороны. От нетерпенья Гильчевскому показалась уже нелепой его затея — объезд леса, но зато на поляне ждала его нечаянная радость: как-раз в одно время с ним, только с другой стороны леса на ту же поляну выходила первая рота 404-го полка, и впереди роты ехал верхом командир полка полковник Татаров.

Это был образцовый командир, так же как и полковник Николаев, — спокойный перед боем и неспособный теряться в бою. И внешность у него была внушающая доверие солдатам: солдаты не любили командиров жиденьких, — это давно заметил Гильчевский. «Какой из него командир — так,

вообще, стрюцкий какой-то!»... Татарова даже и в шутку никто не назвал бы «стрюцким», — он был основательный человек во всех смыслах. И то, что он никогда не горячился и в обращении со всеми был ровен, очень к нему шло.

Не успел еще удивиться и обрадоваться в полную меру, увидев его, Гильчевский, как он уже подъехал к нему с рапортом:

— Ваше превосходительство, по приказанию командира корпуса командуемый мною полк откомандирован из 105-й дивизии.

— Откомандирован? Очень хорошо! Прекрасно! Здравствуйте, дорогой! Я очень рад! — и Гильчевский даже обнял Татарова, точно не видел его целый год. — Совсем как блудный сын: пропал и нашелся!

— Где прикажете расположить полк? — спросил Татаров.

— Был бы на месте полк, а уж расположить его есть где!.. Здорово, молодцы! — крикнул Гильчевский в сторону первой роты, но на приветствие своего начальника дивизии отозвалась и показавшаяся на поляне вторая рота.

Люди имели бодрый вид, хотя прошли пешком несколько верст.

— Ну, с такими молодцами нам уж австрийские укрепления не страшны! — ликовал Гильчевский, который готов был простить все грехи своего комкора за то только, что вся его дивизия теперь снова в сборе, — «в кулаке».

Тем временем канонада в стороне Торговицы начала утихать. Гильчевский указал Татарову место расположения полка, а сам с Протозановым поскакал по направлению к Торговице.

— Мост, мост, — вот что важнее всего! — повторял он на скаку. — Не успеют сжечь, — могут взорвать, отступая! Тогда пропало дело!

Артиллерийская пальба совсем почему-то затихла; ружейная тоже, хотя и доносилась, но была какая-то вялая. Наконец, с опушки рощи, в которой австрийцы, как с первого взгляда решил Гильчевский, начали было рыть окопы, но бросили, не успев закончить, уж

видно стало все местечко и белая церковь с синими разводами.

Местечко лепилось очень кучно на холме и без того высокого здесь берега Иквы, а церковь оказалась как-то не по местечку велика — тем более, что большинство жителей в нем были евреи. На узеньких улочках его везде виднелись русские солдаты.

К местечку пришлось подниматься в гору, зато от церкви широкий разостлался кругозор: долина Иквы, река, мост через нее, который был целехонек и уже охранялся стрелками, лес на другом берегу, более низком, чем этот, дорога в нем; а главное, — по этой дороге тянулись отступающие австрийцы совершенно безнаказанно.

— Батарею; батарею сюда! — закричал Гильчевский. — Как же можно дать им уходить, точно с парада? Обстрелять сейчас же!

Полубатарея — четыре горных орудия — нашлась поблизости и подскочила к церкви, где стоял Гильчевский. Орудия установили без всякого прикрытия, лишь бы успеть послать в ряды уходящих хоть несколько десятков гранат.

Но мадьяры оказались не так беззащитны, как думалось Гильчевскому. После первых же трех залпов полетели снаряды противника в церковь и пробили в ней стены.

Щебнем, посыпавшимся вниз, засыпало орудия. Сам Гильчевский едва успел отскочить в сторону. Пришлось тут же оттащить и орудия и поставить их в укрытое место.

— Эге-ге, — да у них там, на другом берегу, основательные укрепления, — говорил Гильчевский Ольхину, разглядывая в цейс противоположный берег Иквы.

— Я уж навел справки у местных жителей, когда они выбрались из погребов и обрели дар речи, — живо отозвался на это Ольхин. — Линия укреплений там еще с прошлого года.

— Вот видите, как! А проволока? Сколько рядов?

— Насчет проволоки допытаться не мог, — не знают. Ведь укрепления

были брошены и только теперь заняты вновь.

— Натянули, я думаю... Но почему-то не заметно: очень высокая трава там.

— Хлеба, а не трава!

— Ночью произвести разведку позиций противника, — тоном приказа сказал Гильчевский, и Ольхин ответил на это, подняв руку к козырьку фуражки:

— Слушаю, ваше превосходительство!

— Хлеба? Да, кажется, действительно, хлеба, — смотря в бинокль, говорил Гильчевский. — Озимая пшеница... Жаль. Завтра от нее там мало что останется: завтра все эти позиции мы должны взять... вместе с мадьярами!

2.

Окопная война, если она затягивается надолго, отучает солдат и офицеров, и их начальство всех степеней от войны маневренной.

На сотни, даже на тысячи километров тянется сплошная стена подземных казарм и укреплений, соединенных между собой и с ближайшими тыловыми блиндажами и землянками ходами сообщений в земле, и вся эта длиннейшая цепь искусственных пещер сравнительно безопасна, и «локоть товарища» в них чувствуется очень прочно.

Но вот покинуты свои окопы, опрокинуты чужие, и полки вышли на «дневную поверхность», как говорят шахтеры; тогда происходят странные явления с людьми: пехотинцы ходят с большим трудом, им приходится восстанавливать в ослабевших ножных мышцах способность быстро передвигаться, а офицеры пехоты с трудом ориентируются на местности. Пространство само по себе, независимо от того, каково оно по своим качествам, кажется слишком огромным и таящим в себе всякие неожиданности и подвохи со стороны врага; пространство, которое необходимо захватить, представляется не просто союзником врага, а как-то само по себе враждебным.

Настроение это или быстро проходит, или держится довольно стойко, смотря

по тому, отступает стремительно или очень упорно защищается враг.

Пока, с быстротой совершенно неожиданной, мадьяры, выбитые из своих весьма долговременных позиций, спасали свои жизни, свою артиллерию, свои обозы, — в полках дивизии Гильчевского был подъем; но вот оказалось, что впереди за двумя реками, — одна широкая, а другая еще шире, — снова ушел в землю проворный враг, и неизвестно, как к нему подойти, с чего начать и как провести новый прорыв этих таинственных позиций, которые, может быть, ничуть не слабее только-что взятых.

Одно дело долго готовиться к прорыву, готовиться несколькими армиями, включающим несколько десятков дивизий и огромное число батарей, притом выполнять приказы, идущие от главнокомандующего фронтом, непосредственно связанного со Ставкой, — и совсем другое дело, когда одна дивизия, хотя бы и подкреплённая еще полком из другой дивизии, должна решать сразу и безошибочно, имея в голове только одно твердое знание, вынесенное еще из Академии генерального штаба, что река между твоей дивизией и позициями противника трудно проходима для войск.

Было над чем задуматься Гильчевскому, несмотря на тот азарт погони, в который он только-что вошел.

Держать дивизию в кулаке перед своими глазами было нельзя: она рассыпалась по двум рекам: бригада на Стыри, бригада на Икве, и перед первой — пять верст неприятельских позиций, перед второй — десять.

Нужно было выбрать для себя со штабом наблюдательный пункт. Гильчевский выбрал одну высоту — 102, из цепи холмов на своем, правом берегу Иквы, верстах в четырех от неприятеля; с нее был хороший обзор, однако она могла быть вполне доступна артиллерии врага. В то же время нужно было установить и свою артиллерию, так как батарейные командиры тут же перессорились из-за более выгодных позиций. Пришлось прибегнуть к строгому приказу, а Гильчевский по опыту знал, что

артиллеристы строгих приказов начальников чужих для них дивизий не любят и что лучше всего с ними не ссориться перед боем, исход которого зависит на три четверти от их работы.

Гильчевский заметался, отлично уже начиная видеть, что поставленная перед ним задача превосходит его скромные силы.

Спасительным явился новый приказ комкора: отложить атаку позиций на Икве на один день. Впрочем, тут же после минуты облегчения началась новая тревога.

— Хорошо, — отложить атаку на Икве... А как же Стырь? Ведь у меня на Стыри стоит бригада? Значит, как же я должен понять это: завтра атаковать этой бригадой позиции за рекою Стырью? Повидому, так, а? — спрашивал он офицера из штаба корпуса, привезшего приказ.

— Никак нет, — ответил тот, хотя и не вполне уверенно. — Мне пришлось слышать, что линию Стыри завтра займет другая дивизия.

— Отчего же этого нет в приказе? — недоумевал Гильчевский, вертя в руках бумажку, подписанную Федотовым.

— Повидому, не совсем еще решено, однако уже намечено, ваше превосходительство.

— Лучшего мне нечего и желать, если освобождается моя бригада, — повеселел Гильчевский. — Однако хотелось бы, чтобы так именно было!

Утро следующего дня внесло полную определенность.

Во-первых: разведчики—финляндские стрелки, подобравшиеся ночью к австрийским позициям, донесли, что позиции нужно признать сильными, а колючая проволока перед ними местами в четыре, а местами и в семь колев, хотя из-за высоких хлебов ее совершенно не видно с правого берега; во-вторых, бригада с реки Стыри, действительно, сменялась целой дивизией, — 126-й, бывшей ополченской, как и 101-я; и, наконец, на помощь артиллерии, которой располагал Гильчевский для действий на своем участке, шел дивизион тяжелых орудий.

Так как Гильчевский и раньше знал, что слева его подпирает 105-я дивизия, то теперь, узнав о таком «локте товарища» справа, как 126-я, и такой опоре сзади, как две тяжелых батареи, которые покажут мадьярам, чего они стоят, — он снова почувствовал себя так, как привык за последние месяцы.

Но ночью случилось то, чего он не мог простить своему командире первой бригады: австрийские разведчики подожгли мост через Стырь.

Правда, пожар удалось все-таки потушить, и сгорела только часть моста. Гильчевский приказал во что бы то ни стало восстановить мост. Это тем легче было сделать, что он был не настолько громаден, как мост через Икву у Торговицы, который тянулся на триста сажен, захватывая всю долину реки, очень топкую в этом месте, и шириною был в три сажени. Когда Гильчевский прискакал в Торговицу, он прежде всего кинулся к этому мосту и увидел, что австрийцы уже оплели его сваи жгутами из соломы, чтобы поджечь, но не успели этого сделать. Зато они взорвали часть моста поближе к своему левому берегу, и саперы на глазах Гильчевского, под прикрытием орудийного и пулеметного огня довольно быстро привели мост почти в прежний вид: во всяком случае он мог бы уже пропустить на тот берег все легкие батареи. Важно было во время боя отстоять его от рядов противника.

В полдень 26 мая явилась первая бригада, сменная 126-й дивизией; в то же время комкор Федотов дал знать Гильчевскому, что он вполне понимает важность выпавшей на него задачи и дает ему в подчинение остальные три полка 2-й финляндской стрелковой дивизии.

Это была уже честь совершенно неожиданная: ведь прошел всего день, как тот же Федотов счел нужным поставить ему на вид тактическую, по его мнению, погрешность, теперь же подчиняет ему, начальнику ополченской дивизии, кадровую дивизию, старую и боевую, начальник которой, может быть, не держал бы ее «в кулаке» ему

в угоду, а распустил бы веером по всем окрестным деревням Пьяне.

Кстати, шесть мелких деревень насчитал Гильчевский на своем участке атаки по долине Иквы. От них в трех местах тоже шли на этот берег мосты, слабенькие и тряские, но пригодные для переброски пехоты. План перебросить через эти мостки части двух своих полков возник у Гильчевского, когда он был в одной из этих деревень, расположенной на правом берегу Иквы, и он вызвал к себе Татарова и Кюна, только-что ставшего в этой деревне со своим полком.

— Вечером, когда стемнеет, — сказал он им, — по батальону от каждого полка должны будут переправиться на тот берег реки и там непременно закрепиться. Вашему полку, — обратился он к Кюну, — сделать это здесь, в деревне Остриево, а вашему, — обратился он к Татарову, — против той деревни, в которой вы стоите, то-есть, против Рудлева.

— Слушаю, — сказал на это Татаров.

— Позвольте мне осмотреться на новом для меня месте, ваше превосходительство, — сказал Кюн.

— Осмотритесь, непременно осмотритесь, да... И в восемь вечера мне донесите о том, какой батальон у вас начал переправляться.

Весь свой участок атаки, растянувшийся на десять верст, он поделил на две равные части, и правый, в который входила на австрийской стороне сильно укрепленная деревня Красное, расположенная против Торговицы, он предоставил финляндским стрелкам, с 6-м полком в авангарде, а левый — своей дивизии.

От Татарова вечером пришло донесение в колонию Малеванку, в штаб дивизии, что он начал переправу через Икву. Не дождавшись такого же донесения от Кюна, Гильчевский запросил его по телефону сам и услышал неожиданный ответ:

— Операцию по переправе и закреплению на том берегу я считаю совершенно невыполнимой, ваше превосходительство.

Гильчевский был так удивлен этим, что только спросил:

— Вы осмотрелись?

— Точно так, ваше превосходительство, осмотрелся и нахожу...

Тут Гильчевский вспомнил, что из-за нераспорядительности Кюна был сорван первый штурм 23 мая и прокричал в трубку:

— В таком случае, у вас глаза плохо видят! И 23 числа они тоже видели плохо!.. В таком случае, я вам приказываю немедленно сдать полк командиру первого батальона, подполковнику Печерскому! Пошлите его к телефону, чтобы я передал ему приказание лично!

Через четверть часа подполковник Печерский услышал от Гильчевского, что назначается командующим полком.

— Немедленно начать переправу одного, по вашему выбору, батальона на другой берег, где и закрепиться ему. Об исполнении мне донести, — добавил Гильчевский.

Печерский был ему известен с хорошей стороны, и в нем он был уверен. Однако озабочен он был тем, что по новости положения своего этот хороший батальонный командир может не справиться с серьезной задачей, свалившейся на него внезапно и в ночное время. Это же опасение высказал и Протозанов.

Было тревожно и за 404 полк, удача которого в этом ночном деле казалась Гильчевскому гораздо более важной, чем удача 402 полка, так как 404 полк предназначался им для прорыва, а 402 — только для поддержки его успеха.

Но вот около полуночи пришло донесение от Татарова:

— Первый батальон вверенного мне полка, перейдя реку Икву, закрепляется на противоположном берегу. Потерь не было.

И не успел еще начальник дивизии расхвалить по заслугам Татарова, как получилось донесение от Печерского:

— Доношу вашему превосходительству, что четвертый батальон 402 полка переправился через реку, понеся при

этом весьма незначительные потери, и окапывается, не тревожимый противником.

3.

Выбравшись 24 мая из третьей линии австрийских укреплений, подполковник Шангин повел свой четвертый батальон 402 полка за вторым, а не за третьим, уклонившимся в сторону деревни Пьяне, и это был первый случай в боевой жизни прапорщика Ливенцева, когда он вел роту преследовать отступающего противника.

Усталости он не чувствовал, — был подъем. Этот подъем чувствовался им и во всей роте по лицам солдат. И шагая рядом со взводным Мальчиковым, и видя его широкое, крепкое бородатое лицо хотя и потным, но как будто вполне довольным, Ливенцев сказал ему:

— Ну, как, Мальчиков, веселое ведь занятие гнать мадьяр?

Мальчиков глянул на него по-своему, хитровато, и слегка ухмыльнулся в бороду.

— Веселого, ваше благородие, однако, мало, — отозвался он.

— Мало? Чего же тебе еще? Корабля с мачтой? — удивился Ливенцев.

— Не то, чтобы корабля, ваше благородие, а, во-первых, жарко, — пить хочется, а нечего.

— Ну, это терпимо, — пить, правда, и мне хочется, да надо потерпеть... А «во-вторых» что?

— А во-вторых, как говорится, — «хорошо поешь, где-то сядешь». Австрияк, он, одним словом, знает, куда идет: он — туда, где у него понаготовлено про нашу долю всего, — и снарядов всяких, и патронов, а мы у него, может, на приманке.

— Как на приманке? На какой приманке? — не понял Ливенцев.

— Приманка, она всякая с человеком бывает, — опять ухмыльнулся Мальчиков. — Например, про себя мне ежель вам сказать, ваше благородие, то я перед войной на мазуте в Астрахани работал. Я хотя десятником был, ну, по осеннему времени, от холодной воды ревматизм такой себе схватил, что и хо-

дить еле наслу мог. А тут пришлось мне раз в мазуте выше колен два часа простоять. Кончил я свое дело, — вышел, — что такое? — Ну, ползут прямо черви какие-то по мне, по всему телу, и всё! Не то, чтоб я их глазами своими видел, а так просто невидимо ползут, как все равно микроба какая! А тут подрядчик поблизости. — Что ты, говорит, обираешься так, как перед смертью? — А как же мне, говорю, не обираться, когда явственно слышу: черви по мне ползут! — Ну, он мне: — В мазуте, говорит, чтобы черви или там микроба какая была, этого быть никак не может. Мазут этот — такое вещество, одним словом, что от него всякая микроба, напротив того, бежит, сломя голову. А это у тебя от ревматизма так показывается... Ты вот лучше возьми да искупайся в мазуте по шейку, — спасибо мне скажешь. — Как это, говорю, в мазуте чтобы купаться? Шуточное это разве дело? — А так, говорит, искупайся, и все. Только не менее надо, как четыре раза так, — ищи тогда своего ревматизма, как ветру в поле... — Ну, раз человек уверенно мне говорит, — думаю себе... дай по его сделаю, — значит, он знает, что так говорит.

— Искупался? — с любопытством спросил Ливенцев.

— Так точно, ваше благородие. Искупался по его, как он сказал, четыре раза, и все одно, как никакого ревматизму во мне и не было! Вот он что мазут, — какую в себе силу имеет!

Красное лицо Мальчикова имело торжественный вид, но Ливенцев вспомнил о «приманке» и спросил:

— Хотя в нефти вообще много чудесного, но какое же отношение твой мазут имеет к твоей же «приманке»?

Мальчиков снова ухмыльнулся, теперь уже явно по причине недогадливости своего ротного, и ответил довольно странно на взгляд Ливенцева:

— Да ведь как же не приманка, ваше благородие: ведь это, почитай, перед самой войной было.

— Все-таки ничего не понимаю, — признался Ливенцев, и Мальчиков пояснил:

— Кто ж его знает, что лучше бы было: или мне в Астрахани в мазуте бы не купаться, или что я от ревматизму свою сдыхался... Это я к примеру так говорю. Вот так же теперь, может, и австрияки, ваше благородие.

— Что именно «так же»?

— Выманил нас, одним словом, а там кто его знает, что у него на уме... Ну, а нам иттить теперь, конечно, все равно надо, — пан или пропал, — добавил Мальчиков, скользнув по лицу Ливенцева хитроватым взглядом и ухмыльнувшись.

На привале в деревне Надчице, напившись, умывшись и поужинав, Ливенцев спал крепко, уложив голову на чей-то вещевой мешок.

И новый день, который пришлось ему со всем полком простоять бездеятельно на берегу Стыри, был полон для него все тем же ощущением начатого огромного дела, которое было потому только и огромным, что не его личным.

Ощущение это росло в нем и крепло по одному тому, что бригада (не его рота, не батальон, не полк, а целая бригада) занимала линию фронта в несколько верст. Он видел большую реку, которой никогда не приходилось ему видеть раньше, но которая была исконно-русской, волынской рекой, — гряды холмов, покрытых лесом, — зеленые хлеба в долине, деревни, — большой кусок мирной и плодотворной земли, по которой скакал когда-то с дружинами удельный князь, в железном шишаке, и с «червленым», то-есть, красным щитом, скакал к ее «шеломени», то-есть, границе, чтобы блюсти ее от натиска «поганных» — кочевников, — половцев и других.

— Я как-то и где-то читал, что половцы, по крайней мере часть их, поселилась на оседлую жизнь в Венгрии, и что в семнадцатом веке в Будапеште умер последний потомок половецких ханов, который еще знал половецкий язык, — сказал Ливенцев прапорщику Тригуляеву. — Так что вот с кем мы с вами, пожалуй, имеем дело в двадцатом веке: нет ли среди мадьяр за Стырю отдаленных потомков половцев?

— Что же касается меня, — очень весело отозвался на это Тригуляев, — то я — прямой потомок крушителя половцев Владимира Мономаха!.. Что? Не согласны?

— Все может быть, — сказал Ливенцев.

— Я вижу сомнение на вашем лице, — сложно подмигнул Тригуляев, — но... вполне ручаюсь за то, что я — мономахович!

— Вполне вам верю, — сказал Ливенцев, — только контр-адмирал Веселкин, который теперь, говорят, очень чудит в Румынии, все-таки гораздо удачливее вас: он называет себя сводным братцем нашего царя, и в этом никто не сомневается, представьте!

Когда на смену их бригаде явилась целая дивизия — 126-я, — а им приказано было, держась берега Стыри, итти на Икву, Ливенцев услышал от командира пятнадцатой роты, тамбовца Коншина:

— Ну, вот начинается дерганье: то туда иди, то сюда иди, — не могли сразу поставить, — куда надо!

Коншин и вид имел очень недовольный, а Ливенцеву даже и в голову не пришло пошутить над ним, хотя склонности к шуткам он не потерял; напротив, он был совершенно серьезен, когда отозвался на это:

— Удивляюсь, чего вы ворчите! — Я никогда не имел никаких так называемых «ценных» бумаг, в частности, акций, но слышал от умных людей, что если уж покупать акции, то только солидных предприятий, обеспеченных большими капиталами. Вот так и у нас с вами теперь: солидно, не какие-то там чики-брики, обдуманно!.. Не знаю, как вы, а я уж теперь, еще до боя, когда нас с вами убьют, вполне готов сказать: если война ведется умно, то быть убитыми ничуть не досадно!

Из всего, что сказал Ливенцев, Коншин, видимо, отметил про себя только одну фразу, потому что спросил, поглядев на него тяжело и пристально:

— А вы почему же так сказали уверенно, что нас с вами в этом бою убьют?

— Э-э, какой вы серьезный, — уж и пошутить с вами нельзя! — сказал Ливенцев, не усмехнувшись при этом.

О том, что ночью, когда они уже стояли на Икве, был сменен Печерским Кюн, Ливенцев не знал: Шангин счел за лучшее не говорить об этом своим ротным перед ночным делом. Но Ливенцев, как и другие, впрочем, заметил, что старик волнуется, передавая им приказ перейти мост и закрепиться на том берегу.

— Закрепиться, — вот в чем задача, — говорил своим ротным Шангин. — Что, собственно, это значит? Как именно закрепляться?

— Вырыть, конечно, окопы, — поставался помочь ему Ливенцев.

— Окопы вырыть? — и покачал многодумно вправо-влево седой головой Шангин. — Легко сказать, «окопы вырыть», а где именно? В каком расстоянии от моста?.. А вдруг попадем в болото?.. И как расположить роты? Три ли роты выставить в линию, одну оставить в резерве, или две вытянуть, а две в резерв?..

— Разве не дано точных указаний? — снова попытался уяснить дело Ливенцев.

— В этом-то и дело, что нет! В этом и вопрос, господа!.. Мне сказано только: «Действуйте по своему усмотрению»... — А что я могу усмотреть в темноте? Я — не кошка, а подполковник... А к утру у меня всё должно быть закончено: к утру я должен донести в штаб полка, что закрепился.

— А если австрийцы нас пулеметами встретят? — мрачно спросил корнет Закопырин.

— В том-то и дело, что могут пулеметами встретить, — тут же согласился с ним Шангин.

— Когда же нам приказано выступить? — спросил Коншин.

— Сейчас надобно уж начать выступление, — ответил Шангин, и Ливенцев удивленно сказал, пожав плечами:

— О чем же мы говорим еще, если сейчас? Сейчас, — значит, сейчас. И будем двигаться на мост.

— «Чем на мост нам итти, поищем лучше броду!» — неожиданно для всех

продекламировал Тригуляев, и на этом закончилось обсуждение задачи.

Через четверть часа рота Ливенцева первой подошла к мосту. Ливенцев только предупредил своих людей, чтобы шли не в ногу и как можно тише, на носочках, точно собрались «в чужое поле за горохом»; чтобы не звякали ни котелками, ни саперными лопатками; чтобы шли совершенно молча; чтобы не вздумал никто, пользуясь темнотой, закурить самокрутку...

И рота пошла.

Зная, что мост был жиденький, Ливенцев вел ее во взводных колоннах с интервалами, и когда вместе с первым взводом перешел на тот берег и услышал, как вперебой били перепела в пшенице, то сам удивился удаче.

На всякий случай, первому взводному он приказал рассыпаться в цепь. Мост охранялся, конечно, и за ним таился пост от первого батальона, правда, не больше отделения, так что когда подошел второй взвод, Ливенцев уже почувствовал себя гораздо прочнее, а когда собралась, наконец, вся рота, как-то само пришло в голову, что всю ее нужно рассыпать, отойдя полукругом настолько, чтобы дать место другим трем ротам.

Он оказался в прикрытии батальона, он — в первой линии перед врагом, упадет ли тот утром, или теперь же, ночью, — Ливенцев даже не предполагал в себе того, что одно это сознание даст ему такую четкость мысли и уверенность не только в своих силах, но и в силах и выдержке всех без исключения своих людей.

4.

Едва наступило утро, Гильчевский отправился из Малеванки на свой наблюдательный пункт.

Канонада уже гремела на всем десятиверстном участке по реке Икве.

Обе дивизии располагали дивизионом тяжелых орудий каждая, но Гильчевский оставил в своей дивизии еще и 8 гаубиц, на что неодобрительно кивали командиры финляндских стрел-

ков, говоря: «Конечно, своя рубашка к телу ближе!»... Несколько обижены они были и в легкой артиллерии: им Гильчевский дал всего 38 орудий, а в своей дивизии оставил 56. Но он просто хотел уравновесить как-нибудь силы своих ополченцев с кадравиками...

Кроме того, в утро этого решительного в жизни своей дивизии дня он чувствовал себя как-то совсем неуверенно, несмотря даже и на то, что Федотов его как бы предпочел начальнику чужой дивизии, а может быть, благодаря именно этому.

С одной стороны он мог торжествовать над командиром корпуса, который, только-что попрекнув его тем, что он держит дивизию в кулаке, вполне потом с ним согласился, усилив его целой дивизией, а с другой — велика была сила внушения, испытанного в молодые годы: «Болотистая долина Иквы, — почти непроходимая преграда», — так говорилось в академии, — значит, это знал и Федотов.

— Непроходимая, непреодолимая, неприступная, — как там ни выразишь, все равно скверно, — говорил он Протозанову. А «почти» — что же такое это «почти»? «Почти» может быть какого угодно веса, — смотря по обстоятельствам.

Обыкновенно бывало так, что начальник штаба 101-й дивизии держался осторожнее, чем сам начальник дивизии. Но теперь, чувствуя ли сомнение в успехе, которое закралось в душу Гильчевского, Протозанов, этот подтянутый, всегда серьезный человек с сухим красивым лицом, счел своим долгом уверенно сказать в ответ:

— Как бы кому ни икалось от этой Иквы, а мы сегодня австрийцев гнать от нее будем в три шеи!

Такая решительность, прорвавшаяся вдруг сквозь обычную осторожность, несколько успокоила Гильчевского, но когда они с конной группой человек в двенадцать выбрались на опушку леса, чтобы отсюда, спешившись, дойти до наблюдательного пункта на высоте 102, то невольно остановились. Вся высота была окутана розовым дымом: казалось, не было на ней места, где бы не рва-

лись австрийские снаряды, и в то же время там, в окопе, сидели связанные с телефонами.

— Вот так штука! — изумился Гильчевский. — Значит, кто-то им уже передал, что там у нас — наблюдательный пункт!.. — И добавил укоризненный: — А вы мне только-что говорили!..

— За шпионами, конечно, дело не станет, — да ведь и без того у них тут пристреляно, нужно полагать, всё, — спокойно ответил Протозанов. — А наблюдательный пункт надо оттуда снять и перенести сюда.

— «Надо», — хорошее дело «надо», а как это сделать? Нужно, чтобы пошел туда кто-нибудь и снял связанных, а кто же пойдет в такой ад? — прокричал Гильчевский.

— Кто пойдет?

— Да, кто пойдет?.. Кого послать?

И Гильчевский оглядел бегом всех около себя и так ошутительно почувствовал, что послать придется на явную смерть и, может быть, без всякой пользы для дела, что всех ему стало вдруг жаль. Он понимал, что приступ жалости — слабость, совершенно непростительная в руководителе боем, и в то же время отделаться от этой слабости не мог.

Вдруг Протозанов вскинул голову, поглубже надвинул фуражку на лоб и сказал решительно:

— Я пойду!

— Что вы, что вы! Как я могу остаться без начальника штаба!

Гильчевский испуганно схватил его за руку в локте, но Протозанов мягко отвел его руку.

— Ничего, — я в свою звезду верю.

И, не улыбнувшись, пошел четкой строевой походкой, как на параде, к розовой высоте, а Гильчевский напряженно-испуганно следил за каждым его шагом.

Остановить и заставить его вернуться было нельзя, — он понимал это, и в то же время вышло все неожиданно нелепо: начальник штаба дивизии жертвовал собой успеху дивизии, значит, и он тоже не верил в успех без этой жертвы?

Беспокойство и неуверенность только усилились, а между тем показывать их перед чинами своего штаба было бы совершенно непозволительно, — это понимал Гильчевский и сдерживал себя, как мог, следя за подходившим уже к высоте Протозановым.

Как-раз в это время несколько человек конных показалось в лесу близко к опушке, на той самой дороге, по которой только-что добрался сюда сам Гильчевский. Он послал узнать одного из офицеров штаба, кто это и зачем, а сам все следил, идет ли еще или уже упал Протозанов: в дыму на горе этого уже нельзя было видеть.

Приехавшие спешились и шли вместе с посланным офицером к нему, и Гильчевский подумал: не из штаба ли корпуса? Не прислал ли нового приказа Федотов?

Но подходил какой-то совершенно незнакомый полковник генштаба с двумя обер-офицерами. Мелькнула даже торопливая, нелепо странная мысль, не прислан ли к нему новый начальник штаба на место Протозанова, и он, Протозанов, это заранее узнал каким-то образом, но от него скрыл и, оскорбленный, решил на самоубийство.

Мысль была вздорная, однако Гильчевский яростно воззрился на подошедшего полковника и еще яростнее крикнул:

— Что, а? Вам что?

— Честь имею представиться, полковник Игнатов! — несколько обескураженный таким приемом, проговорил подошедший, но Гильчевский, не протянув ему руки, крикнул снова:

— Зачем?

— Из штаба армии, ваше превосходительство, — в замешательстве уже, хотя отчетливо ответил Игнатов. — Разрешите поучиться у вас управлению боем.

— Управлению боем?..

Гильчевский скользнул глазами по обескураженному простоватому лицу полковника Игнатова, тут же отвел глаза к высоте 102, разглядел на ней сквозь расслоившийся дым Протозанова рядом с наблюдательным пунктом, облегченно сказал: — А-а! Пока bravo! —

и только теперь протянул руку полковнику из штаба армии.

Но в следующий момент снова заволкло дымом Протозанова, — снаряды на холме продолжали рваться, — и, неуверенный уже в том, удалось ли ему войти в окоп, Гильчевский резко бросил Игнатову:

— Сопроводительный документ из штаба армии извольте предъявить, поскольку я вас не знаю!

Поняв свою оплошность, Игнатов поспешно вытащил из кармана бумажку, о которой он совсем было забыл, а Гильчевский, взяв ее, продолжал неотрывно следить за высотой 102.

Канонада густо гремела сплошь, однако делались ли проходы в проволоке противника? К тем опасениям и сомнениям, которые овладели Гильчевским в это утро, прибавилось теперь еще и это: невидно было отсюда, как действует артиллерия, а высота, выбранная для наблюдательного пункта, оказалась под преднамеренно сильным огнем.

Так прошло около получаса, и когда Гильчевский уже хотел сказать вслух то, что все время вертелось в мозгу и жалило его: — Ну, значит, погиб, аминь! — вдруг показался Протозанов, а за ним несколько связанных, нагруженные аппаратами и мотками проводов, которые они собирали проворно.

— Слава богу, жив! — крикнул Гильчевский, обращаясь непосредственно к полковнику Игнатову, который понял и восклицание это, и сияние глаз начальника 101-й дивизии только тогда, когда сам увидел подошедшего Протозанова.

— Слава богу, вы — молодец, конечно, вы — молодец! Но-о... но приказываю вам этого больше впредь не делать! — радостно кричал Гильчевский.

Однако с приходом Протозанова и связанных, около него оказалась уже порядочная кучка людей, и ее разглядели со своих холмов за рекой австрийские наблюдатели: вблизи начали рваться снаряды.

В то же время и наблюдательный пункт нужно было занять другой, запасной, хотя и не столь выгодный, как высота 102, с меньшим кругозором.

Удача Протозанова подняла настроение Гильчевского: стала уже мерещиться удача всей атаки.

Вот один полк начал цепями сходить с холмов в долину Иквы.

Гранаты и шрапнель рвались в цепях, но цепи шли быстро. Это было захватывающее зрелище торжества человеческого упорства в достижении цели. Видно было сквозь розовый дым, как валялись десятки людей то здесь, то там, но остальные двигались вперед с каждой минутой быстрее... Вот уже подошли к мосту и бегут через мост на тот берег...

— Это какой полк? Какой? — волнуясь, спросил Протозанов Игнатов.

— Это 401-й Карачёвский... Там командир полка — Николаев, — ответил Протозанов спокойно. Они с Игнатовым оказались однокурсниками по академии, но там плохо знали друг друга, даже просто не помнили один другого.

Гильчевский не переставал подозрительно относиться к Игнатову, как к соглядатаю, подосланному штабными, которых вообще не жаловал боевой генерал, говоря о них неизменно: «Ни черта не понимают в деле, а только интриги разводят, друг друга подсиживают да представляют себя взаимно к наградам!»

Но простоватое лицо Игнатова было непритворно оживленно.

— Этот полк, что же он, — первым пошел в атаку? — спрашивал он.

— Что вы, что вы, это — резерв, — недовольно кричал в ответ Гильчевский. — Ударные полки теперь уже на той стороне!.. На той стороне, а не на этой!

Не хотелось объяснять, что решить дело должны были два полка: 6-й — от финляндских стрелков, и 404-й от его дивизии, и некогда было объяснять это, и не шли слова на язык.

В мозгу все вертелось: «Проходы, проходы... Пробыты ли проходы для штурма?..» Ничего на том берегу не было видно из-за высокого хлеба, над которым навис иссиня-белый дым от наших снарядов. Но если не посчастливилось пробить проходы, значит, пропало всё,

растает полки от ближнего огня австрийцев.

Время шло. Канонада не слабела. Противник отстреливался ожесточенно.

Подходило уже к одиннадцати часам, когда вдруг заметно стало, что там, за зеленой равниной хлеба, к роще потянулась небольшая кучка австрийцев, — человек сорок...

Это заметили в одно время и Протозанов, и Гильчевский, но только переглянулись, отводя глаза от своих биноклей и тут же снова прильнув к стеклам...

Еще кучка левее... Правее тоже и гораздо больше, чем первая...

Гильчевский опасался раньше времени поверить в успех, он только сказал с виду безразличным тоном:

— Кажется, кое-где идут наши мадьяры рачьим ходом.

— Не отступать ли начали? — тем же тоном отозвался Протозанов, а Игнатов подхватил возбужденно:

— Что? Что? Победа, а? Победа?

Это раздосадовало Гильчевского. Он крикнул яростно:

— Какая там победа! Какой вы скорый!

В это время начальник связи, поручик Данильченко, отрапортовал, подойдя:

— Телефограмма от полковника Ольхина, ваше превосходительство!

— А? Что? — встревожился Гильчевский.

— Первый батальон мой обошел через мест позиции противника, ворвался в Красное и гонит австрийцев», — с подъемом отчеканил поручик.

— Ну, вот, очень хорошо, очень хорошо... — обрадованно сказал Гильчевский, но тут же добавил, строго глядя на Игнатова: — Хорошо что, собственно? Хорошо, что саперы успели поправить мост там сгоревший, — вот что! Вот мост и пригодился для дела...

И, вспомнив тут же слова донесения «гонит австрийцев», обратился к Протозанову:

— Гонит австрийцев в каком же направлении, а? Ведь вон они отступают прямо на запад, а должны бы отступать на юг!

— Это не от Красного отступают, — сказал Протозанов. — Это гораздо левее.

— Разумеется, разумеется, это уж наши их так!.. Передать на батареи, чтобы открыли по ним заградительный огонь!

Не больше как через десять минут донесил и полковник Татаров, что его передовые роты выбивают мадьяр из окопов и берут пленных.

И только после этого донесения по-светлело лицо Гильчевского, и он сказал Игнатову:

— Ну, вот, — это еще не называется успехом, но пожалуй, пожалуй, что мы уже толчемся где-то около него, стучим ему в двери, — дескать: «Отвори, чорт тебя дер, на всякий случай!»

Однако сила внушения была все еще так велика, что не поддавалась в нем воздействию первых признаков успеха. Тем более, что он видел вереницы раненых, которые шли по долине реки к своим перевязочным пунктам. Вместе с ранеными уходили, конечно, и трупы, но легко было представить и множество тяжело раненных и убитых перед окопами противника и в самых окопах.

Наконец, дрогнувший вначале враг мог оправиться потом и защищаться так упорно, что даже отданные им окопы могут быть отбиты снова. Хорошим признаком считал он про себя то, что артиллерийский огонь противника как будто слабел, но поделиться с кем-нибудь около себя этим восприятием он пока еще не решался. Он старался только сохранить спокойный вид, поборошь волнение и для этого тоном напускного равнодушия говорил:

— Пока еще бабушка на-двое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.

5.

По сравнению с другими прапорщиками в четвертом батальоне, Ливенцев считался более опытным, однако и ему не приходилось никогда ночью, с трудом, шаг за шагом пробираясь по кочковатой долине, где местами хлюпала под ногами грязь, вести роту.

Сзади у воды урчали лягушки, спереди, в хлебах, били перепела, но противник молчал; однако молчание это могло в любой момент разорваться сверху донизу очередями пулеметов и частым огнем винтовок, а то и легких орудий.

Впереди, конечно, шли патрули, но Ливенцев опасался, что они или преждевременно поднимут тревогу, или сознательно будут пропущены цепью противника вперед.

Однако, чем дальше от моста продвигалась рота, тем меньше становилось опасений у Ливенцева, и когда прошли, наконец, долину речки и начали подниматься к хлебам, то совершенно твердо, как будто не свою только роту, а целый батальон он вел, Ливенцев решил продвинуться настолько, чтобы сзади довольно осталось места для остальных рот.

О хлебах ничего не говорил Шангин, но Ливенцев, наблюдая эти хлеба днем, еще тогда про себя подумал, что они, такие высокие и густые, могли бы, как кустарники, надежно укрыть целые полки. И хотя, благодаря неожиданной смене командира полка, никому не удалось разобраться как следует в поставленной начальником дивизии задаче, но Ливенцеву казалось неопровержимым, что другого решения быть не может.

И вот хлеба. Пшеница. Местами по пояс, местами по грудь ему, человеку выше среднего роста. Она очень густая, от росы мокрая и душно пахнет. Если идти по ней осторожно и не колонной, а цепью, то она будет не слишком и прямая, а утром, когда высохнет, даже может и выпрямиться.

Ливенцев сделал всё, чтобы рота его продвинулась в хлебах и залегла, пустив в дело саперные лопатки. Земля была рыхлая и поддавалась легко. Для связи с ротой Коншина он отрядил одного ефрейтора с рядовым, но примет ли четырнадцатая вправо, или двинется влево от его роты, не знал. Когда же определилось, что она будет у него справа, то почему-то (он не отдал себе отчета, почему именно) это было ему приятно. Пятнадцатая с легкомысленным Тригуляевым выдвинулась левее, — таков

был приказ Шангина, который остался при шестнадцатой, в резерве.

В старинном, многовековом черноземе камней не было: камни лежали грядами на спусках в долину реки; лопатки не звякали; люди работали старательно и споро, — это наблюдал Ливенцев. Он не сидел на месте, — он беспокоился и беспокоил, обходя роту в цепи, и не напрасно делал это: троих пришлось ему растолкать, — они заснули, улегшись на росистый хлеб, и забыли о том, что надобно окопаться.

Подозрительным казалось Ливенцеву и то, что мадьяры не стреляли. Это можно было объяснить и тем, что окопы их были еще довольно далеко, — не меньше полуверсты, — и тем, что они теперь спали, готовясь к бою утром, и тем, наконец, что не придавали большого значения переходу русских через Икву, надеясь на силу своего огня.

«Разумеется, — думал Ливенцев, — если они готовят нам разгром, то для них удобнее прижать нас к реке, чем самим переходить ее потом под нашим огнем, хотя бы и ради преследования»... Это соображение, впрочем, не только не пугало его, но, напротив, придавало ему больше устойчивости, так как он верил в удачу.

Главное, его мозг математика постигал, хотя и отчасти только, какой-то отчетливый ход мысли этого светлоглазого чернобрового старика, начальника дивизии, который понравился ему еще с первого смотра в начале апреля.

Он в него поверил тогда и сейчас ему верил. Он понимал, что мост необходим для переброски на этот берег нескольких тысяч людей, и что его рота, вместе с другими тремя, пока-что должна охранять этот мост от возможного натиска мадьяр. Оставалось только ждать этого натиска до рассвета, когда, как обычно, загремят пушки.

Когда против левого фланга роты Тригуляева поднялась было ружейная пальба, Ливенцев подумал встревоженно: «Неужели атака?..» Но в то же время быстро передал своим, чтобы не стреляли до его команды.

Было не то, чтобы совершенно темно, хотя луна не появлялась и облака пре-

ходили низко: от звезд, пробиваясь сквозь облака, шел все-таки небольшой свет, — в двух-трех шагах можно было узнать хорошо знакомого человека.

Стрельба у Тригуляева быстро прекратилась и потом, вплоть до рассвета, не подымалась вновь нигде в цепях. А до рассвета время не тянулось для Ливенцева, потому что рота выполняла приказ закрепиться, и рассвет подошел, — так ему показалось, — гораздо быстрее, чем можно было бы его ждать.

И тут же вслед за рассветом началась канонада.

Это вышло торжественно и строго: начали свои орудия сразу и уверенно, как сознающие свою силу, как передатчики этого сознания силы своим ротам, залегшим в хлебах на страже двух мостов через Икву.

И потом час и два, и три чертили в небе над головой расчисленные дуги снаряды, свои и чужие. Иногда слышен был их полет сквозь залпы и разрывы, как бывает слышен свист голубиных крыльев сквозь городской шум.

Подобравшись сзади, укрытый в полусогнутом положении стеною пшеницы, Некипелов сказал Ливенцеву:

— Как приказано, Николай Иваныч: нам ли первым в атаку иттить, или мы пропускать другие роты должны?

Вопрос был по существу, и небольшие лесные глаза сибиряка смотрели серьезно.

— Никаких на этот счет приказаний не было, — ответил Ливенцев. — Может быть, и нам, может быть, и другим, а в общем, конечно, придется всем.

— Я потому это спрашиваю, что идут уж наши, — кивнул головой назад Некипелов.

Оглянувшись Ливенцев, — действительно, роты подходили уже цепями к мосту.

— Вот когда будут бить по мосту австрийцы! — сказал он с большой тревогой.

— Однако ничего, — отозвался на это Некипелов. — Бегут сюда по мосту наши!

Пальба русских батарей усилилась, австрийские отвечали им реже, слабее, — так воспринимало ухо, но Ливенцев

боялся поверить этому: может быть, ему просто хочется, чтобы так именно было, а на самом деле нет этого?

— Чья артиллерия сильнее бьет? — спросил он Некипелова.

— Выходит, однако, наша сильнее, — уверенно ответил сибиряк.

— Ну, значит, будем готовиться к перебежке частями! Не может быть, чтобы новые роты шли дальше, а мы чтоб лежали... Они на наше место, а мы вперед... Тогда я подам команду... Идите пока ко второй полуроте.

Ливенцев говорил это спокойно. Он и был спокоен. Наступали очень большие, решительные, может быть, последние минуты жизни, но не было ни осушей под ложечкой тоски, о которой он слышал от других, когда лежал в госпитале, ни нервической дрожи, которая тоже будто бы охватывает все тело, и которую надо побороть, чтобы овладеть собою и быть в состоянии действовать.

Он владел собою. Он вспомнил первый штурм, когда много было затрачено каких-то не поддающихся определению усилий нервов и мысли, чтобы подготовиться к настоящему бою, но тогда занесенная для боя рука опустилась скромно и немного даже стыдливо: бой был решен другими. Теперь повторялась во всем теле та же самая собранность, которая появилась тогда, и острота зрения такая, что Ливенцев вспомнил прапорщика Коншина и подумал: «Как же он будет вести своих в атаку, если он — в пенсне?»

Ливенцев даже поймал себя на том, что теперь, с этой минуты, ему досадно, что именно так вышло, — что командует ротой по соседству с ним хотя и толковый человек, но в пенсне. А вдруг потеряет он пенсне или высокая пшеница сдернет его с носа, что он будет делать тогда? Не различит своих солдат от австрийских!

Фельдфебель Верстаков с того времени, как увидел его в первый раз в марте Ливенцев оплывшим на подобие свечного огарка, давно уже подобрался, — «вошел в свою норму», как говорил о себе не без важности он сам.

Он оказался исполнительным, быстро соображающим человеком, способным

понимать своего ротного с полуслова, как это умеет делать большинство фельдфебелей.

Ливенцев шутил иногда, что фельдфебелями люди рождаются так же, как и поэтами.

Теперь Верстаков, тоже весь полный ожиданием решительной минуты, занял место ушедшего ко второй полуроте Некипелова и, как до него подпрапорщик, поминутно оглядывался назад и считал своим долгом докладывать, хотя Ливенцев видел это и сам:

— Еще батальон поспешает!.. Это, похоже, второй... Значит, они в обратном порядке... А потом пойдет первый...

Когда доложил он:

— Ваше благородие, третий батальон добегаёт к нам! — Ливенцев почувствовал, что наступила решительная минута, что надо идти вперед.

Команды «Вперед!» не было дано, но она уже как бы повисла в воздухе, оставалось ей только зазвучать, как звучит телеграфный провод, натянутый между столбами. И она прозвучала.

— Перебежка частями! Первый взвод начинает! — прокричал Ливенцев, вынимая свисток. Ему казалось, что он командовал едва ли не громче, чем было надо, однако команду эту расслышали только ближайшие к нему солдаты первого взвода, и Верстаков метнулся от него в сторону тех, до которых она не дошла из-за грохота орудийных выстрелов и разрывов снарядов, так как обстрел не только не прекращался, а даже усилился. Гильчевский держался и теперь того, что дал ему опыт недавнего штурма, тем более, что он знал, как далеко от окопов противника закрепились ночью батальоны.

Кругозор Ливенцева был гораздо уже, хотя сам он находился ближе к врагу.

Ливенцев видел высокие черные фонтаны взрывов русских тяжелых снарядов над австрийскими окопами, однако он не знал, пробиты ли легкими снарядами и где именно, если пробиты, проходы в колючей проволоке.

При штурме позиций на высоте 100 действие артиллерии было видно издали, так как там укрепления противника

шли по скату высоты в два яруса; здесь же высокая пшеница и складки местности скрывали и окопы, и заграждения перед ними.

После бомбардировки, длившейся с раннего утра, то-есть несколько часов подряд, можно было ожидать, что раздавлены все пулеметные гнезда мадьяр, но, чуть только началась перебежка взводами, застрекотали пулеметы.

К батальону под утро пришли два артиллериста, наблюдатели, оба прапорщики, со связными, но один из них остался при роте Коншина, другой при роте Тригуляева, где местность была повыше. Они передавали по телефону батареям, тяжелым и легким, как ложились снаряды, но уничтожены ли пулеметные гнезда, этого не могли, конечно, определить и они.

Ливенцеву не пришлось учить свою роту перебежкам на лагерном плацу, и он не был даже уверен, будут ли бежать вперед его люди под огнем пулеметов, но теперь видел, что они бежали, разбирая на бегу руками густую пшеницу и пригнувшись, бежали деловито, не останавливаясь, пока не раздавался свисток своего взводного, как это и требовалось по уставу, и потом вытягивались и прижимались головами к земле.

После он объяснял себе это тем, что батареи посылали снаряд за снарядом, и иные из этих снарядов удачно накрывали пулеметы; тем также, что бежать солдатам пришлось под прикрытием пшеницы, а не по открытому месту, что было бы неизмеримо труднее; наконец, и тем, что бежали и справа, и слева от них, по всему берегу реки, что бежали и сзади, им в затылок, что в атаку шли тысячи людей, и как же можно было выпасть куда-нибудь из такого стремительного людского потока?

С другой стороны, и огонь пулеметов был как-то вял и слаб по сравнению с тем, что пришлось испытать несколько больше полугода назад Ливенцеву в Галиции.

Он старался отбросить мысль, что атака началась издали, то австрийские пулеметчики поджидали, когда цепи придвинутся ближе.

Некогда было ему думать о чем-либо другом, — кроме как только об этом: как, в каком порядке бегут люди? Сколько еще осталось перебежек до штурма? Есть ли там, в заграждениях проходы, или их придется пробивать еще ручными гранатами?..

Теперь он держался сзади, — не вел роту, а направлял ее. На него же, обгоняя мешкотную, как ее толстый командир, шестнадцатую роту, напирала люди третьего батальона.

«Ну, пропала пшеница, — потопчут!» — думал он бодро, видя такую стремительность. После нескольких перебежек начали попадаться воронки от первых, недолетевших снарядов. Наконец видны стали колья и местами повисшая, местами туго натянутая ржавая проволока на них. Это были не те проходы, которые он видел три дня назад, но все-таки он сказал самому себе успокоительно: «Ничего!»... Тем более, что в них все-таки еще рвались снаряды, значит, минута штурма еще не наступила.

Окопы передовые, как и укрепления второй линии, сооруженные австрийцами еще прошлым летом, теперь заросли травой, по высоте своей не уступающей пшенице, но от действия снарядов все было перебуравлено там: странно-белесыми, опаленными клочьями торчала эта трава из-под засыпавшей ее то черной, то глинистой земли; торчали в разные стороны разбросанные и перебитые колья; не были издали заметны, но чувствовались по буграм земли объемистые воронки, через которые надо будет бежать, где перескакивая через них, где их минуя.

Но вот заметно стало, что перестали рваться снаряды вблизи, что они молчат только вторую линию... Все в Ливенцеве напрялось в ожидании сигнала к штурму, — и сигнал этот он услышал.

6.

В неглубокой воронке торчали ноги в сапогах со сбитыми набок каблуками, а все тело вывернулось совершенно естественно в сторону, лицом вверх. По лицу, искаженному, но с открытыми неподвижными глазами, пробегавший ми-

мо Ливенцев узнал взводного унтер-офицера Гаркавого. Мельком подумал: «Убит?» и тут же перепрыгнул через нижний ряд проволоки с расчетом, чтобы не угодить в следующую воронку.

Рядом с ним оказался с одной стороны обычно вальковатый, однако преобразившийся теперь в своеобразного и ловкого бойца тот самый Кузьма Дьяконов, который говорил о «настоящей пище», а с другой — Мальчиков, из рода столетних жителей вятских сосновых лесов, справедливо сомневавшийся в досягаемости этих лесов для немцев.

Не приказано было кричать «ура», чтобы не притянуть криком раньше времени больших сил по ходам сообщения к передовым окопам, однако солдаты как будто совершенно забыли об этом.

Орал и Дьяконов.

— Не ори! — бросил ему на бегу Ливенцев.

— Неспособно молчком! — буркнул Дьяконов и шагов через пять заорал снова: — Р-а-а-а-а!

Большинство пулеметных гнезд было разрушено, но мадьяры не хотели уступать окопов без боя. От их ружейного огня беспорядочно залегли те, кто остался в живых от первого взвода, не добежав всего шагов двадцати до последнего ряда кольев.

— Па-ачки! — прокричал команду второму взводу, с которым бежал на штурм, Ливенцев. Тут же перехватил его команду и третий взвод, бежавший уступом ко второму и несколько левее. Ливенцев оглянулся туда, увидел там Некипелова и как будто стал вдруг выше ростом.

А на бруствере уже не было многолюдства: мадьяры очищали его; там, спереди, только убитые или тяжело раненные валялись ничком.

— Урра! — теперь уже сам хрипло орал Ливенцев, до боли сжимая рукой свой браунинг. Потом потерялась отчетливость восприятий: штыки длинные и синие, согнутые спины солдат, лица, искаженные яростью рукопашного боя, пронзительный чей-то вопль рядом, — это тот, обтиравший ежедневно кар-

тины от пыли, — фамилию его Ливенцев не припомнил, — массивный мадьяр всадил свой штык ему в живот; Ливенцев выстрелил мадьяру в красный вздутый висок, и мадьяр свалился...

Потом рвались в окопах и в ходах сообщения чьи-то гранаты, — вражеские или свои, нельзя было понять. Ливенцев кричал своим солдатам:

— Не входить в окопы!.. Не лезь в окопы, э-эй!

Новые жертвы казались ему уже излишними, но остановить разгоряченных боем не было возможности. Между тем, мадьяры уходили в тыл, — не уходили, — бежали. Они старались бежать по ходам сообщения, но это не везде им удавалось: местами ходы были засыпаны, приходилось выскакивать наверх... За ними гнались, или кричали: «Сдавайся!»... Они останавливались и клали наземь винтовки.

И вдруг Некипелов рядом:

— Николай Иваныч! Смотрите!

Он показывает рукой вправо.

Тут же был и Мальчиков. Ливенцев только-что спросил его, увидя кровь на рукаве его гимнастерки: «Что? Ранен?» и услышал бодрый ответ: «Это ни черта не составляет!» Мальчиков тоже пристально взгляделся в то, что раньше его заметил сибиряк, и сказал изумленно:

— А вот это, действительно, сволочь!

Шагах в двухстах, — может быть, несколько больше, — за участком окопов, занятым уже четырнадцатой ротой, окопы мадьяр несколько загнулись внутрь, и то, что разглядел там Ливенцев, его поразило.

По фигуре, по фуражке он узнал прапорщика Обидина, державшего руки вверх, стоявшего впереди нескольких своих солдат, — тоже поднявших руки. Еще момент, и окружившие эту группу мадьяры потащили бы их в плен.

— По изменникам, пальба взводом! — крикнул вне себя Ливенцев, забыв о том, что рядом с ним всего несколько человек, из которых у Некипелова, как и у него самого, не было винтовки.

Однако залп, и еще залп, и еще один успели сделать Мальчиков, Дьяконов и

другие пятеро-шестеро, и залпы эти произвели действие: там разбежались, а потом туда нахлынули солдаты двенадцатой роты...

Некогда было следить за тем, что делалось за двести шагов по фронту, когда нужно было спешить во вторую линию укреплений, куда уже стремились кучки солдат четырнадцатой роты, и где уже перестали рваться снаряды своих батарей.

Ливенцев скользнул глазами по этим кучкам, надеясь увидеть Коншина, но не увидел и крикнул туда:

— Эй! Четырнадцатая рота! А ротный командир ваш где?

Там остановился какой-то ефрейтор, поглядел на Ливенцева и вывел тонко и жалобно:

— Ротный командир наш? — У-бита! — махнул рукой, покрутил головой и побежал дальше догонять других.

Ливенцев непроизвольно сделал рукой тот же жест, что и этот ефрейтор, добавив: — Вот жалость какая!

Как-раз в это время поровнялся с ним спешивший тоже вперед прапорщик-артиллерист, наблюдатель.

— Послушайте, прапорщик! — обратился к нему Ливенцев. — Вот рядом в четырнадцатой роте убит ротный командир, — не возьмете ли ее под свое покровительство?

Прапорщик этот, светлоглазый, потнолицый, с расстегнутым воротом рубахи, но бравого вида, был понятлив. Он ничего не расспрашивал у Ливенцева, он спешил. У него оказался звонкий голос. На быстром ходу прокричал он:

— Четырнадцатая рота, слушать мою ко-ман-ду! — и, только оглянувшись на двух связных, спешивших за ним и тянувших провод, тут же побежал впереди десятка солдат четырнадцатой роты, потерявшей своего командира.

А не больше, как через пять минут Ливенцев услышал новые залпы своей артиллерии: это был заградительный огонь, который приказал открыть Гильчевский, чтобы задержать бегство мадьяр на участках, атакованных Ольхиным и Татаровым.

7.

Теперь уж штабу 101 дивизии можно было перейти не только на облюбованную раньше Гильчевским для наблюдательного пункта высоту 102, но и гораздо ближе к Икве на высоту 200, находившуюся против деревни Баболоки, однако в этом больше не было нужды: руководство боем закончилось, так как закончился бой.

Это было в начале двенадцатого часа. Заградительный огонь подействовал на значительные толпы отступавших, которые сначала остановились, потом повернули назад, чтобы сдаться. Однако основные силы мадьяр все-таки уходили на юго-запад и уходили быстро.

— Эх, конницу бы нам теперь, конницу! — почти стонал от бессилия Гильчевский. — И вот же всегда так бывает с нами: когда полжизни готов отдать за один полк кавалерии, видишь только хвосты своей ополченской сотни.

При дивизии была и оставалась без переименования ополченская конная сотня с поручиком Присекой во главе. Ее пускали в дело для конных разведок, из нее брали ординарцев, при ней содержались верховые лошади штаб-офицеров, но больше из нее ничего нельзя было выжать.

— Поздравляю, ваше превосходительство! — с искренним восхищением, преобразившим его простоватое лицо, говорил Гильчевскому Игнатов. — Я видел прекрасное руководство боем!

— Ну, что вы там видели, — ничего вы не видели, оставьте, пожалуйста! — отмахивался Гильчевский. — Сначала вам нужно увидеть настоящих героев этого боя, а их мы с вами увидим, если сейчас поедем в Торговицу, оттуда в Красное, а потом вдоль фронта... И непременно, непременно передайте в штабе армии, что... Я не знаю, конечно, может быть, кавалерийские дивизии выполняют сейчас гораздо более важные задачи, — этого я не знаю, но то, что одной из них нет сейчас здесь, это — большое упущение, это — непросительная ошибка чья-то, чья-то, — вам лучше, чем мне, знать, чья именно!

С высокого берега, в Торговицах,

около церкви, где чуть было не был убит он дня два назад, Гильчевский наблюдал движение уже последних арьергардных частей противника, скрывавшихся за дальними рощами. Считая беспорядочное преследование отступающих пехотными частями, потерявшими притом многих своих офицеров, совершенно излишним для дела и даже небезопасным, Гильчевский запретил его. В то же время к Торговице приказано было им собирать пленных, взятых в деревне Красной 6 финляндским полком и на фронте всей 101-й дивизии.

Пленных еще вели и вели с той и с другой стороны, но и теперь уже они заполнили всю базарную площадь местечка и ближайшия к ней улицы; и теперь уже, до полного подсчета, видно было, что их гораздо больше, чем оказалось после штурма 24 мая. При этом получалось так, что один 6 полк набрал пленных не меньше, чем вся 101-я дивизия, что несколько даже смутило Гильчевского.

По тому самому мосту, который чуть было не сгорел, но потом очень успешно был восстановлен саперами, Гильчевский и все, кто был с ним в кавалькаде, двинулись в Красное. Однако чем ближе подъезжали, тем меньше радовались.

— Эге-ге, — сказал Протозанов, — тут жаркое было дело!

Деревня дымилась в нескольких местах, хотя пожары, видимо, тушились. Много домов было разрушено артиллерией австрийцев. Разбитая черепица, слетевшая с крыш, краснела всюду на улицах. Тела убитых русских солдат попадались часто. Их сложили санитары возле домов; тут же над тяжело ранеными они хлопотливо натягивали полотнища палаток, чтобы защитить их от полуденного зноя, пока явится возможность перевезти их, куда прикажет начальство.

На въезде из этой, до сражения очень благоустроенной, большой деревни с каменными домами, стали попадаться рядом с телами солдат финляндского полка тела австрийских солдат, и чем дальше, тем было их больше и больше... и тяжело раненные стонали тяжело для слуха.

— Тут была рукопашная! — сказал Гильчевский. — Мадыры тут отчаянно защищались!

Дорога от Красного на запад была очень оживлена: двигались группы солдат туда и оттуда; шедшие оттуда сопровождали пленных мадыр и своих раненых. Издалека заметил Гильчевского полковник Ольхин, бывший верхом, и подскакал к нему.

— Вот, видите, кто настоящий герой этого дня: вот кто! — обратился несколько торжественно Гильчевский к Игнатову, когда Ольхин был уже близко.

— Ольхин? Я его хорошо знаю: вместе состояли в штабе армии, — улыбаясь, сказал Игнатов.

Большая, вороная, сильная на вид лошадь Ольхина бежала, однако, с трудом: она была ранена пулей в мякоть правой задней ноги. Но не только у лошади, — у самого Ольхина был тоже перетруженный, усталый вид: он, такой обычно бодрый и деятельный, едва шевелил теперь пересохшими губами. Он даже не улыбнулся, здороваясь с Игнатовым, хотя силился улыбнуться.

Свой рапорт Гильчевскому он начал с того, что его более всего удручало:

— Доношу вашему превосходительству, вверенный мне полк понес большие потери... Они еще не вполне подсчитаны, не приведены в полную известность, но не меньше... не меньше, как тысяча человек!

— Тысяча человек? На полк, — да, много, — сказал Гильчевский.

— Третий полка, ваше превосходительство, но... но трудно было и ожидать таких контратак, какие пришлось отбивать полку, — продолжал, с трудом подбирая слова, Ольхин. — Было пять контратак!.. Деревня Красное была занята полком с налета еще в шесть часов, но потом пошли настойчивые контратаки, одна за другой... Это оказалась очень укрепленная позиция; противник придавал ей очень большое значение... Правда, потом было взято много пленных...

— Сколько именно пленных? — спросил Гильчевский.

— Не вполне подсчитаны и пленные, ваше превосходительство, они еще продолжают прибывать... Последняя круглая цифра — 2600 человек.

— Ну, вот видите, как! — обратился Гильчевский к Протозанову. — Где наибольший успех, там не могут быть ничтожными и потери — что делать, это — закон. Во всяком случае тут был левый фланг австро-германских позиций, и он был опрокинут и обойден 6-м финляндским стрелковым полком, выдержавшим (Гильчевский говорил это так, будто диктовал своему начальнику штаба донесение в штаб корпуса) несколько ожесточенных контратак противника за время с шести до одиннадцати часов, когда противник был окончательно сломлен и потерял, кроме убитых и раненых, пленными до трех тысяч... Ну, честь вам и слава! — обратился он к Ольхину и протянул ему руки для объятия.

Когда потом кавалькада двинулась дальше вдоль взятых позиций, в сторону участка 101-й дивизии, Игнатов говорил возбужденно:

— Прошу извинения, ваше превосходительство, но я напросился к вам по своей доброй воле, исключительно, чтобы поучиться, как действовать в бою... Я совсем не намерен оставаться на работе в штабе!

— А-а! — протянул Гильчевский и посмотрел на него гораздо более приветливо, чем за все время, которое провел с ним рядом.

— Теперь же тем более, когда полковник Ольхин оказался таким героем...

— Подождите, я вам покажу скоро другого полковника-героя, — бесцеремонно перебил его Гильчевский, не любивший высокопарности.

Другой полковник-герой был Татаров, перебросивший один из своих батальонов на другой берег Иквы к деревне Рудлево и прорвавший своим 404 полком австрийские позиции. Однако до места прорыва от Красного было верст пять, — весь участок 6-й дивизии, — и эти пять верст нельзя было проскакать галопом. Это были версты подвигов и потерь, торжества и учета, а главным образом, общих сожалений, что разбитый враг ушел и преследовать его так

же, как преследовали 24 мая, с большим рвением, но без всякой надежды догнать его раньше, чем он дойдет до заранее заготовленных, еще год назад, позиций, нет никакого смысла.

— Эх, если бы у нас была кавалерия! Вот бы пустить ее в погоню! — говорили Гильчевскому офицеры финляндских стрелков.

— А вот у нас тут есть полковник из штаба армии, — оживленно отозвался на это Гильчевский. — Достаточно ли у нас в 8-й армии кавалерии?

Игнатов ответил на этот вопрос без колебаний.

— Мы в штабе считаем, что вполне достаточно. Прежде всего, у нас две кавалерийских дивизии — 7-я и 12-я...

— Кто начальник дивизии той и другой?

— Седьмой дивизией командует генерал Гилленшмидт, двенадцатой — генерал Маннергейм.

— Та-ак-с! — многозначительно протянул Гильчевский. — Но все-таки где же они сейчас и чем заняты?

— Обе на Луцком направлении... Да ведь генерал Каледин сам — кавалерист. Можно думать, что он даст им возможность проявить себя в лучшем виде, — политично ответил Игнатов.

— Да, да, да, всеконечно! — с явным раздражением отозвался на это Гильчевский. — Будем думать, будем думать, — больше нам ничего и не остается!

Татаров передавал по телефону на наблюдательный пункт, что прорыв удалось осуществить в районе пасеки, и, подвигаясь к участку своей дивизии, Гильчевский искал глазами эту пасеку. Однако определить теперь, где именно до бомбардировки находилась пасека, было трудно; гораздо легче оказалось увидеть Татарова, так как он сам шел навстречу своему командиру.

Он шел привычным для себя строевым шагом, слегка придерживая левую руку, как бы на эфесе шашки, хотя шашки у него и не было.

Так как о прорыве он доносил уже, то теперь он сказал только:

— Ваше превосходительство, действиями вверенного мне полка противнику

нанесен большой урон. Трофеи полка приводятся в известность.

— Благодарю за отличную службу отечеству! — торжественно, держа руку у козырька, повышенным тоном сказал Гильчевский.

— Рад стараться, ваше превосходительство! — по солдатски четко ответил на это Татаров.

Гильчевский легко спрыгнул со своего серого с секущейся шеей, а вслед за ним то же самое сделали и Протозанов, и Игнатов, и другие, кроме ординарцев, которые ожидали на это особого приказания.

В 404 полку Гильчевский пробыл довольно долго, расспрашивая Татарова, как велась им атака на позиции у пасаки, как удалось достичь успеха, какие роты особенно отличились, много ли понесли они потерь...

Объясняя свои действия, Татаров сказал:

— Так как я заранее был извещен, чтобы преследованием разбитого противника не увлечься, то приказал тут же после прорыва двум ротам идти вдоль окопов противника влево, в сторону 402 полка...

— Ага! Вот! — подхватил Гильчевский. — Что и облегчило задачу полку, командир которого оказался трус, и я его, конечно, отчислю, какие бы сильные протекции он ни имел!.. Подробнейший список офицеров и нижних чинов, достойных награды, прошу мне представить сегодня вечером, — добавил он, — а представление к награде вас я сделаю сам.

И, посмотрев на героя-полковника проникновенным долгим взглядом, начальник дивизии не смог удержаться, чтобы не поцеловать его в сухие губы.

8.

Когда Ливенцеву передан был приказ, что преследование противника отставлено, и когда все пленные мадьяры, захваченные его ротой, а также и свои, и австрийские раненые были уже им отправлены в направлении к Торговице, он начал приводить в известность состояние роты, но не забыл при этом и

прапорщика Обидина, о котором не знал еще, успели мадьяры увести его в плен или он, Ливенцев, помешал все-таки в этом и им, и Обидину.

Подозвав к себе Кузьму Дьяконова, он сказал ему:

— Вот что узнай мне сейчас: ротный командир одиннадцатой роты где сейчас находится?

— Одиннадцатой, ваше благородие? — Дьяконов посмотрел в сторону того самого входящего угла австрийских окопов, понимающе качнул головой и добавил, несколько понизив голос: — Стало быть, этот самый, ваше благородие?

— Ну, да, этот самый, только ты об этом ни слова никому, а только спроси, будто я тебя и не посылал... Может, у тебя земляк какой в одиннадцатой, тогда об нем сначала спроси, а после того уж, вроде как между прочим: «А ротный ваш жив?»

— Понимаю, ваше бродь... Слушаю! — очень оживился Дьяконов. — Я туда живой рукой добегу, и сразу обратно.

Действительно, он не мешкал. Ливенцев не успел еще разобраться во взводах и отделениях, которые строились впереди окопов, и где унтер-офицеры устанавливали вместе с фельдфебелем и Некипеловым, сколько осталось в строю, кто убит, кто ранен, — как явился Дьяконов, имевший заговорщический вид и ставший в сторонке.

— Ну, что? — спросил, подходя к нему, Ливенцев.

— Не успели увойтить! — вполголоса доложил Кузьма.

— Налицо, значит? Вот как!.. И не ранен? — удивился Ливенцев.

— Спытывал, ваше благородие, я там двух, ну, говорят, под фланковый огонь попали, так что рану какую-сь имеют они, ротный ихний... — еще таинственнее сообщил Дьяконов.

— У кого узнавал? Не у тех ли, кто с ротным был?

— Так точно, у раненых тоже.

— Они что же, не видели, значит, кто в них стрелял?

— Поэтому, выходит, так: не заметили.

— Ну, черт с ними со всеми, — пусть их отправляют лечиться!.. Иди, становись в строй.

Когда Гильчевский, заканчивая объезд взятых его дивизией позиций, остановился перед тринадцатой ротой, Ливенцев встретил его впереди развернутого строя змычной командой:

— Рота, смирно! Равнение на-лево! — и сам стал на правый фланг.

Поздоровавшись с ротой, Гильчевский поздравил ее с победой, как и все другие части раньше. Рота отвечала бодро, а начальник дивизии, присмотревшись пристальней к Ливенцеву и припомнив его, вдруг обратился к нему, улыбаясь:

— А-а, боевой, боевой прапорщик, — помню! Ну-ка, подойдите с рапортом!

Это обращение не смутило Ливенцева; он только отметил про себя, что уже слышал от него французское ударение в слове «рапорт». Он подошел шага на три и проговорил без запинки, точно прочитал заранее заготовленное:

— Ваше превосходительство! Вверенная мне тринадцатая рота, закрепившись с ночи за рекой в виду противника, первой в полку начала атаку на приходившиеся против нее окопы противника, которые и заняла, взяв при этом 146 человек нераненых в плен и понеся следующие потери: два унтер-офицера убиты, два ранены; ефрейторов и рядовых убито десять человек, ранено тяжело девять и легко семнадцать. Вполне исправного оружия взято у противника 312 винтовок и три пулемета.

Он не знал, в том ли порядке, какой требуется, все перечислил, а также не успел узнать, так ли велики и потери, и трофеи в других ротах, и думал услышать надлежащую оценку их от самого начальника дивизии, но тот спросил вдруг как будто даже недовольным тоном:

— А пропавших без вести сколько?

— Ни одного, ваше превосходительство! Все живые и убитые точно приведены в известность! — ответил Ливенцев, несколько даже вздернутый вопросом генерала, который ему так понравился с первого дня своей деловитостью.

— А список отличившихся нижних чинов можете составить? — снова строгим тоном спросил Гильчевский.

— Так точно, ваше превосходительство!

— Каков, а? — довольно и как будто даже несколько удивленно обратился к Протозанову Гильчевский, подживнув подбородком, и тут же — к Ливенцеву: — Ваша фамилия, прапорщик?

— Ли-вен-цев, ваше превосходительство.

— Запишите прапорщика Ливенцева, командира тринадцатой, — сказал Гильчевский своему старшему адъютанту, чина которого не разобрал на погонах Ливенцев, но у которого в руках заметил и записную тетрадь, и карандаш лилового цвета.

Тут же после того, как уехал дальше Гильчевский, Ливенцев начал составлять список отличившихся и, когда дошел до Кузьмы Дьяконова, то снова вспомнил Обидина.

— Тяжелая или легкая рана у этого... ротного одиннадцатой? — спросил он Кузьму, опять отозвав его к сторонке.

Кузьма виновато мотнул головой:

— Не могу этого знать, — не спытывал.

— Чудак! Что же ты такой простой вещи не догадался спросить?

— Могу сейчас добежать, — тут разве даль какая?

— Нет уж, не надо, так и быть... Нечего бегать, — после узнается. Иди.

Действительно, стало как-то совсем ненужно Ливенцеву подлинно знать, тяжело или легко ранен Обидин. Если даже ни то, ни другое, а третье, — то есть, серьезно, то, значит, его счастье: скорее, чем окончилась бы война, и его вернули бы из плена, увидится он со своей невестой, или даже женится на ней, на Вере Покотиловой из города Касимова на Оке.

Вспомнив про оставленную им бумажку с адресом, Ливенцев вынул ее из кармана и изорвал в клочки. Тут же после этого на другой бумажке, заготовленной им для Наташи Сергеевны, он добавил несколько слов: «Был в бою на р. Икве; пока невредим».

Он вполне добросовестно думал несколько минут, что бы такое еще можно было сюда добавить, но ничего придумать не мог. Впрочем, если бы ему и удалось написать длинное письмо, то он не знал бы, каким образом его отсюда отправить, когда, по всем видимостям, и стоять здесь не предполагалось совсем: нельзя было давать разбитому врагу возможности восстановить свои силы.

Приказ дивизии идти в порядке, полк за полком, к деревне Бокуйме, расположенной на шоссе, ведущем в историческое местечко Берестечко, был отдан Гильчевским тут же, как он объехал все взятые позиции.

В разведку вперед была послана конная сотня, но в соприкосновение с противником она в тот день не вошла: остатки мажарских полков бежали быстро к реке Пляшевке, впадающей в ту же Стырь. Там были старые австрийские позиции, и туда от Стыри подходили к ним подкрепления.

Собрались к вечеру за Иквой и все полки дивизии финляндских стрелков, но собрались также над всем расположением обеих дивизий и густые черные тучи.

Войска были утомлены, — им не пришлось отдыхать предыдущую ночь, а вполне заслуженный ими отдых в эту ночь отняли у них гроза и ливень.

Деревня Бокуйма была не так велика, чтобы в ней можно было разместиться большому отряду, в ней ночевали только штабы обеих дивизий.

Ливенцеву, как и другим офицерам, пришлось довольствоваться плохо натянутой походной палаткой и утешаться тем, что ливень оказался не затяжной и промочил его не до костей.

А утром, едва щедрое на тепло солнце конца русского мая обсушило многотерпеливых солдат, как пришло в штабквартиру Гильчевского распоряжение комкора Федотова — 101-й дивизии ока-

зать содействие 3-й дивизии, расположенной по соседству.

Эта дивизия входила в семнадцатый корпус, а семнадцатый корпус в свою очередь числился уже не в восьмой армии у Каледина, а в одиннадцатой — у Сахарова.

— Позвольте, что же это такое? — недоумевал Гильчевский. — Перед 3-й дивизией, как и перед нашей одна и та же река Пляшевка, — говорил он Протозанову, — почему же содействие должны оказывать мы ей, а не она нам, — не понимаю! Что же, мне в награду за победу на Икве становиться в подчиненное положение к начальнику 3-й дивизии, который никаких, кажется, подвигов не совершил?

— Разумеется, Константин Лукич, надобно уточнить, в чем, собственно, дело, — согласился с ним Протозанов и вызвал к телефону начальника штаба корпуса.

Вопрос выяснился далеко не сразу, так как и в штабе корпуса он был еще не совсем ясен. А когда выяснился вполне, Протозанов, человек вообще сдержанный и к пафосу не склонный, обратился к своему начальнику с торжественным видом:

— Честь имею поздравить, ваше превосходительство! Командуемая вами дивизия признана в штабе Юзфронта ударной, а благодаря ей ударным становится весь 32-й корпус и прикомандирован к одиннадцатой армии для большей успешности ее действий.

— А-а, — на гастроли, на гастроли, значит, нас, ополченскую дивизию, приглашают, вот оно что! — потер руки Гильчевский, прошелся взад и вперед по комнате и добавил: — «Дождались мы светлого мая!» — так пелось когда-то в детской песенке, но май-то уж вот-вот кончится не сегодня-завтра, — наступает июнь, лето... Эх, горячее лето ожидает нас с вами, дорогой мой герой, — горячее лето!

г. Куйбышев.

Апрель — май 1942 г.

Конец первой части.

Письма в далекое

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

Софье Криве

1

Положи мне на плечи руки
И в глаза прямее взгляни.
Если б знала ты, сколько муки
Сердце приняло в эти дни.

Нелегко ходить без оглядки,
Не мигая в огонь смотреть.
Возле губ наших горькие складки
Никогда уже не стереть.

Даже если к полкам и ротам
Мир придет в окопную глушь,
Мы не скоро назад воротим
Равновесие наших душ.

Сменит вспышки ракет зарница,
Зарастут окопы травой,
А солдату все будет сниться
Рев мотора и бомбы вой.

Все же верю — уйдет война,
И над выжженными полями
Оживет опять тишина,
В эти дни забытая нами.

2

Сядь у костра. Не спится все равно.
Дням и ночам давно потерял счет.
Разлуки горькой терпкое вино
По нашим жилам медленно течет.

Настой полынный в наше сердце влит,
А опьянение так и не пришло.
Так что ж с похмелья голова болит
И сохнет мозг, и сердцу тяжело?

Как нам мечтать о встречах, о любви,
Когда войной назначен путь штыку?
И это стерпим. И в чужой крови
Утопим боль, усталость и тоску.

3

Полукружьем положим выгнут
Каждой пули быстрый полет.
Если пуля меня настигнет —
Друг открытку тебе пришлет.

Под полночный грохот зенитки,
Сотрясающей ветхий вокзал,
Друг расскажет в этой открытке
Все, что я бы тебе сказал.

Как в болотном вязком тумане
Я лишился последних сил;
Как до самой смерти в кармане
Твой портрет над сердцем носил.

Как на этом твоём портрете
Смертный след оставил металл;
Как в глухую ночь, в лазарете,
Друг мне письма твои читал;

Почти их прах земным поклоном.
 Скажи, что мы на фронте, здесь
 Не оскорбим и не уроним
 Оружья дедовского честь,

Что трудно нам шагать сквозь ветер,
 Плоды трудов своих губя,
 Но силы нет такой на свете,
 Чтоб нас подмяла под себя.

7

Трупы в черных канавах. Разбитая
 гать.

Не об этом мечталось когда-то.
 А пришлось мне, как видишь,
 Всю жизнь воспевать
 Неуютные будни солдата.

Луг в ромашках серебряных сказочно
 бел,

И высокое облако бело.
 Здесь мой голос на резком ветру
 огрубел,

Да и сердце мое огрубело.

Ничего не поделать! Такая судьба
 Привалила для нашего брата.
 Оттого и робка, и немного груба
 Неуклюжая нежность солдата.

Но и мы ведь заявимся в отческий дом
 Из землянки холодной и тесной.
 Может, сердцем тогда, в тишине,
 отойдем

И напишем веселые песни.

VII—VIII—1942 г.
 Действующая Армия.

Морская душа

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

★

Шутливое и ласковое это прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело в Великой Отечественной войне новый смысл, глубокий и героический.

В пыльных одесских окопах, в сосновом высоком лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в путанных зарослях севастопольского горного дубняка — везде видел я сквозь распахнутый как бы случайно ворот защитной шинели, ватника, полушубка или гимнастерки родные сине-белые полоски «морской души». Носить ее под любой формой, в которую оденет моряка война, стало неписанным законом, традицией. И как всякая традиция, рожденная в боях, «морская душа», полосатая тельняшка, означает многое.

Так уж повелось со времен гражданской войны, с орлиного племени матросов революции: когда на фронте нарастает опасная угроза, Красный Флот шлет на сушу всех, кого может, и моряки встречают врага в самых тяжелых местах.

Их узнают на фронте по этим сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где пнемом и ненавистью горит за флот душа моряка, — веселая и отважная краснофлотская душа, готовая к отчаянному порой поступку, незнакомая с паникой и унынием, честная и верная душа большевика, комсомольца, преданного сына родины.

Морская душа — это решительность, находчивость, упрямая отвага и неко-

лебимая стойкость. Это — веселая удаль, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность спасти раненого, поддержать в бою товарища, грудью защитить командира и комиссара.

Морская душа — это высокое самолюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это — удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффективности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом «немножко» нет. В этой приподнятости, в слегка нарочитом блеске — одна причина, хорошая и простая: гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слово «краснофлотец», овеянное славой легендарных подвигов матросов гражданской войны.

Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни: он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь: он только охраняет ее. Трус всегда пассивен, — именно отсутствие поступка и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым — это быть смелее, хитрее и быстрее врага.

Морская душа — это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна. Поэтому-то враги и зовут моряков на суше «черной тучей», «черными дьяволами».

Если они идут в атаку — то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало.

Если они в обороне — они держатся до последнего, изумляя врага немислимой, непонятной ему стойкостью.

И когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно: моряк захватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой.

В ней — в отважной, мужественной и гордой морской душе — один из источников победы.

1. ФЕДЯ С НАГАНОМ

В раскаленные дни штурма Севастополя из города приходили на фронт подкрепления. Краснофлотцы из порта и базы, юные добровольцы и пожилые рабочие, выздоровевшие (или сделавшие вид, что выздоровели) раненые, — все, кто мог драться, вскакивали на грузовики и, промчавшись по горной дороге под тяжкими разрывами снарядов, прыгали в окопы.

В тот день в Третьем морском полку потеряли счет немецким атакам. После пятой или шестой моряки сами кинулись в контратаку на высоту, откуда немцы били по полку фланговым огнем. В одной из траншей, поворачивая против фашистов их же замолкший и оставленный здесь пулемет, краснофлотцы нашли возле него тело советского бойца.

Он был в каске, в защитной гимнастерке. Но когда в поисках документов расстегнули ее ворот, — под ним увидели знакомые синие-белые полоски флотской тельняшки. И молча сняли моряки свои бескозырки, обводя глазами место небесного боя.

Кругом валялись трупы фашистов — весь пулеметный расчет и те, кто, видимо, подбежал сюда на выручку. В груди унтер-офицера торчал немецкий штык. Откинутой рукой погибший моряк сжимал немецкую гранату; вражеский авто-

мат, все пули которого были выпущены в фашистов, лежал рядом. За пояс был заткнут пустой наган, аккуратно прикрепленный к кобуре ремешком.

И тогда кто-то негромко сказал:

— Это, верно, тот... Федя с наганом...

В Третьем полку он появился перед самой контратакой, и спутники запомнили его именно по этому нагану, вызвавшему множество шуток. Прямо с грузовика он бросился в бой, догоняя моряков Третьего полка. В первые минуты его видели впереди: размахивая своим наганом, он что-то кричал, обращаясь, и молодое его лицо горело яростным восторгом атаки. Кто-то заметил потом, что в руках его появилась немецкая винтовка и что, наклонив ее штык вперед, он ринулся один, в рост, к пулеметному гнезду.

Теперь, найдя его здесь, возле отбитого им пулемета, среди десятка убитых фашистов, краснофлотцы поняли, что сделал в бою безвестный черноморский моряк, который так и вошел в историю обороны Севастополя под именем «Федя с наганом».

Фамилии его не узнали: документы были залиты кровью, лицо изуродовано выстрелом в упор.

О нем знали одно: он был моряком. Это рассказали синие-белые полоски тельняшки, под которыми кипела смелая и гневная морская душа, пока ярость и отвага не выплеснули ее из крепкого тела.

2. МАТРОССКИЙ МАЙОР

В тяжелых осенних боях под Перекопом небольшой красноармейской части пришлось влиться в соседний отряд морской пехоты. Командиром этого сводного отряда был немолодой уже майор, артиллерист береговой обороны. Краснофлотцы любовно прозвали его «матросским майором». Он сразу расположил их к себе отвагой, спокойствием, веселым своим нравом и упрямой волей к победе.

«Матросский майор» перед атакой обычно поворачивал морскую свою фуражку золотой эмблемой к затылку. Пояснял он это так:

— Две задачи. Первая — фашистские снайперы эмблемы не увидят, стало быть, не будут специально в меня целить. Вторая — войско мое, надо понимать, у меня сзади, я же впереди всех в атаку хожу. Вот оно и спокойно, — эмблема сияет и показывает: тут, мол, командир впереди... стало быть, все в порядке...

И он деловито добавлял:

— Вот при отходе, ежели то случится, командир должен фуражку нормально носить. Бойцы назад обернутся, тут эмблема им и доложит: все, мол, в порядке, командир последним отходит...

Но однажды «матросский майор» был вынужден сам изменить этому своему правилу.

Сводный отряд попал в окружение. Кольцо врагов сжималось, отесняя его к берегу. К ночи моряки и красноармейцы заняли последнюю позицию у самого моря, установили оборону и решили держаться здесь до конца.

К какому именно месту берега вышел отряд в многодневных боях на отходе, — сказать было трудно. На карте было путаное кружево заливчиков, лиманов, озер, бухт, на местности — одинаковые камыши, кусты да вода. Было ясно одно: впереди и с боков надвигался враг, сзади лежало море. Отступать было некуда.

Конец ожидали утром, когда немцы подтянут силы для уничтожения «черных дьяволов», попавшихся, наконец, в мешок. Пока все было тихо, стрельба прекратилась. В ночи шумел ветер, светила луна. Черное море поблескивало сквозь камыши и кусты широкой и вольной дорогой к Севастополю, бесполезной для отряда.

Просторная даль тянула к себе взоры, и бойцы отряда молча посматривали на море. Но если красноармейцы с горечью и досадой отворачивались от него, негодуя на препятствие, кладущее конец боям и жизни, то моряки, протасываясь с морем, вглядывались в него с тоской и надеждой, все еще веря, что оно не выдаст и выручит.

Но в лунном серебряном море не было ни корабля, ни шлюпки.

«Матросский майор», обойдя охранение, прилег рядом с военкомом в камыши на плащ-палатку и тоже стал смотреть на Черное море. Вся его военная жизнь — с тех самых дней, когда в гражданскую войну он вступил добровольцем-юношей в матросский отряд и ворвался с ним в Крым по этому же узкому перешейку, — была связана с морем. Каждый день в течение двадцати лет он видел его в прицел орудия, в дальномер, потом в командирский бинокль или в окно сквозь цветы, когда семье удавалось жить с ним вместе на очередной береговой батарее. И теперь мысль, что он видит море в последний раз, казалась ему дикой.

Военком, видимо, разгадал его чувства, или, может быть, и у него защемило сердце от лунного этого простора, неоглядно распахнувшегося над широким морем. Он шумно вздохнул и сказал:

— Да, брат... Хороша вода...

— Хороша, — сказал майор, и они опять надолго замолчали.

Обоим многое хотелось сказать друг другу в эту ночь, которая, как оба отлично понимали, была последней ночью в жизни. Слова сами возникали в душе, необыкновенные и яркие, похожие на стихи. Но произнести их было нельзя.

В них было только прошлое — и не было будущего. В них были далекие, дорогие сердцу люди — и не было места для тех, кто лежал рядом в камышах и верил, что эти два человека совещаются о том, как спасти отряд. Море, прекрасное и родное, вольной своей ширью звало к жизни, и нужно было найти выход из мешка. Но выхода не было — и такая нестерпимая жалость к себе подымалась в душе, что если произнести блуждающие в ней слова вслух, голос мог дрогнуть и глаза заблестеть.

Поэтому оба говорили другое.

— Ветер нынче какой, — сказал военком. — В море шторм, верно.

— Наверное, шторм, — ответил майор.

И они опять замолчали. Потом майор приподнял голову и посмотрел на море с таким неожиданным и живым любопытством, что военком невольно при-

поднялся за ним и шепнул, не веря надежде:

— Корабль, что ли?

Майор повернул к нему лицо, и военком заметил в его глазах, освещенных луной, знакомую веселую хитрость.

— Военком, — сказал майор с неистребимой подначкой, — ты и вправду думаешь, что это море?

— А что ж, степь, что ли? — обиделся военком. — Конечно, море.

— Эх, ты, морская душа! — покачал головой майор. — Моря от лужи не отличил!.. Кабы мы у моря сидели, тут такая бы волна ходила, будь здоров! Понятно?

— Ничего не понятно, — честно сказал военком.

— Ну, так поймешь. Фонарь у тебя еще живой?

Майор выдернул из-под себя плащпалатку и накрыл ею с головой себя и военкома.

Когда командир пулеметного взвода подошел к докладом, что огневые точки готовы к бою, он увидел на песке странное четырехногое существо с огромной головой. Оно ворчало двумя голосами и шелестело бумагой. Потом оно васмехалось высоким заразительным смехом майора и басом военкома, подобрало ноги, и майор вскочил, пряча в планшет карту.

— Окопались? — спросил он оживленно. — Вот и хорошо! Вытаскивайте обратно все пулеметы к воде...

Через час бойцы отряда осторожно, стараясь не плескаться, пробирались друг за другом по грудь в холодной воде, поднимая над головами автоматы и оружие. Пулеметы несли на связанных винтовках, а пять их еще стояло в кустах, охраняя отход, и возле них лежал военком.

Море, к которому немцы прижали отряд, оказалось лиманом, мелким и спокойным. Ветер расплывал над водой ленточки бескозырок, но по лиману бежали только короткие, безобидные волны. Настоящее же Черное море гремело и перекатывалось рядом, за низкой песчаной косой.

И хотя это было отходом, а не атакой, майор на этот раз шел впереди, по «Новый мир», № 10.

вернув фуражку эмблемой назад. Эмблема блестела в лунных лучах, указывая отряду дорогу, и «матросский майор», то-и-дело погружаясь по горло, нащупывал ногой дорогу к Севастополю, идя через неизвестный лиман так же, как двадцать лет назад, когда он переходил через Сиваш и когда впервые узнал, что не всякая широкая вода — море.

✠

3. НЕОТПРАВЛЕННАЯ РАДИОГРАММА

Маленький катер, «морской охотник», попал в беду. Он был послан для ночной операции к берегу, захваченному врагом. В пути его встретил шторм. Катер пробился сквозь снег, пургу и седые валы, вздыбленные жестоким ветром. Он обледянул — и сколол лед. Он набрал внутрь воды — и откачал ее. Но задание он выполнил.

Когда он возвращался, ветер переменялся и снова дул навстречу. Шторм заставил израсходовать лишнее горючее, а потом волна залилась в цистерну с бензином. Катер понесло к берегу, занятому врагом.

Дали радио с просьбой помочь — и замолчали, потому что мотор радиостанции работать на смеси бензина с водой откачался.

Катер умирал, как человек. Сперва у него отнялись ноги. Потом он онемел. Но слух его еще продолжал работать. И он слышал в эфире свои позывные, он принимал тревожные радио, где спрашивали его точное место, — потому что без точного места найти маленький катер в большом Черном море трудно.

Двое суток моряки слышали эти позывки, но ответить не могли.

На катере, между тем, шла жизнь. Командир его старший лейтенант Попов прежде всего разрешил проблему питания. Ветер мог перемениться — и тогда катеру предстояло дрейфовать на юг неделю, может, две. Попов приказал давать краснофлотцам сколько угодно сельдей и хлеба и не ограничивать потребление пресной воды, которой было много. Расчет его оправдался. Когда к вечеру он спрашивал, не пора ли варить обед, краснофлотцы, погла-

живая налитые водой желудки, отвечали, что аппетита еще нет и консервы можно пока поберечь.

В кубрике, как на вахте, постоянно стояли по-двое краснофлотцы, широко расставив ноги и держа в руках ведро. Они старались держать его так, чтобы оно не болталось на качке. Еще один расчет командира оправдался: бензин в ведре, выключенном из качки, отделялся от воды. Его осторожно сливали, вновь наполняли ведро смесью и вновь держали его на руках, дожидаясь, пока бензин отстоится. Так к концу вторых суток получили, наконец, порцию горючего, достаточную для передачи одной короткой радиопраграммы.

Она была заготовлена Поповым в двух вариантах. Первый был одобрен комсомольским и партийным собранием катера и приготовлен на тот случай, если радио заработает в видимости вражеского берега:

«...числа ... часов... минут... Вражеский берег виден в ... милях тчк С каждой минутой он приближается тчк Выхода нет тчк Будем драться до последнего патрона в последний момент взорвемся тчк Умрем живыми врагу не сдадимся тчк Прощайте товарищи привет родине товарищу Сталину тчк Командир военком команда катера 044».

Но ветер изменился, и катер стало относить от берега. Поэтому отправили второй вариант: свое точное место и сообщение, что радио работает последний раз и что катер надеется на помощь.

Она пришла своевременно.

4. ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Передний склон высоты 127.5, расположенной у хутора Мекензи, обозначался на карте загадочной припиской: «Где старшина второй статьи на танке катался».

В начале марта в одном из боев за Севастополь Третий морской полк перешел в контратаку на высоту 127.5. Атака поддерживалась танками и артиллерией Приморской армии. Высота была опоясана тремя ярусами немецких окопов и дзотов. Бой шел у нижнего яруса, артиллерия была по вершине,

парализуя огонь фашистов, танки ползали вдоль склона, подавляя огневые точки противника.

Один из танков вышел из боя: на нем был тяжело ранен командир. Танк спустился со склона и остановился у санчасти. Не успели санитары вытащить из люка раненого, как из кустов подошел к танку рослый моряк с повязкой на левой руке, видимо, только-что наложенной. Оценив обстановку и поняв, что танк без командира вынужден остаться вне боя, он ловко забрался в танк.

— Давай прямо на высотку, не ночевать же тут, — сказал он водителю и, заметив его колебание, авторитетно добавил: — Давай, давай. Я — старшина второй статьи, сам катера водил, дело привычное... Полный вперед!

Танк помчался на склон. Он переполз и первый, и второй ярус немецких окопов, забрался на вершину и добрых двадцать минут танцевал там, крутясь, поливая из пулеметов и пушки, давая фашистов гусеницами в их норах. Рядом вставали разрывы наших снарядов, — артиллерия никак не предполагала появления нашего танка на вершине. Потом танк скатился с высоты так же стремительно, как забрался туда, и покатила прямо к кустам, где сидели корректировщики артиллерии.

И тут старшина второй статьи изложил лейтенанту свою претензию:

— Товарищ лейтенант, нельзя ли батареям перенести огонь? Я бы там всех гансов передал, как клопов, а вы кроете, спасу нет. Сорвали мне операцию...

Но, узнав с огорчением, что его прогулка на вершину мешает загадочному огню, моряк смущенно выскочил из танка и сожалеюще похлопал ладонью по его броне:

— Жалко, товарищ лейтенант, хороша машина... Ну! извините, что поднапутал...

И, подкинув здоровой рукой немецкий автомат (с которым он так и путешествовал в танке), он исчез в кустах. Только о нем и узнали, что он «старшина второй статьи», да запомнили синие-белые полоски «морской души». —

тельняшки, мелькнувшей в вырезе ватника, закопченного дымом и замазанного кровью.

Вечером мы пытались найти его среди бойцов, чтобы узнать, кто был этот решительный и отважный моряк, не военком полка, смеясь, покачал головой.

— Бесплезное занятие. Он, небось, теперь мучается, что не по тактике воевал, и ни за что не признается. А делов на вершинке наделал: танкисты рассказали, что одно пулеметное гнездо он с землей смешал — приказал на нем крутиться, а сам из люка высунулся и здоровой рукой кругом поливает из своего автомата... Морская душа, точно..

5. «ПУШКА БЕЗ МУШКИ»

Как известно, на каждом корабле имеется своя достопримечательность, которой моряки гордятся и которой обязательно прихвастнут перед гостями. Это: или особые грузовые стрелы неповторимых очертаний, напоминающие неуловимый летательный аппарат и называющиеся поэтому «крыльями холопа», или необыкновенный штормовой коридор от носа до кормы, каким угощают вас на лидере «N», ручаясь, что по нему выгйдете в любую погоду, не замочив подошв. Иной раз это скромный краснофлотец по первому году службы, оказывающийся чемпионом мира по плаванию, иногда, наоборот, замшелый, поросший седой травой корабельный плотник, служащий на флоте с нахимовских времен.

Морская часть на берегу во всем похожа на корабль. Поэтому в той бригаде морской пехоты, которой командовал под Севастополем полковник Жидилов, оказалась своя достопримечательность.

Это была «пушка без мушки».

О ней накопилось столько легенд, что нельзя уже было понять, где тут правда, где неистребимая флотская подначка, где уважительное восхищение и где просто зависть соседних морских частей, что не они выдумали это необыкновенное и примечательное оружие.

Кто-то уверял меня, что полковник взял эту пушку в музей севастопольской обороны. Кто-то пошел еще даль-

ше и утверждал, что «пушка без мушки» палила еще по Мамаю на Кулижковом поле, но, видимо, вспомнив, что тогда еще не было огнестрельного оружия, спохватился и сказал, что исторически это еще не доказано, но то, что пушка эта завезена в Крым еще Потемкиным, — уж, конечно, неоспоримый факт.

О ней говорили еще, что она срастается по ночам сама, вроде сказочного дракона, который, будучи разрублен на куски, терпеливо приклеивает к телу отделенные части организма, поругиваясь, что никак не может отыскать в темноте нужной детали — глаза или правой лапы. Впрочем, рассказы этого сорта родились из показаний пленных немцев: примерно так они и говорили о какой-то «бессмертной пушке», которую они никак не могут уничтожить ни снарядами, ни минами.

Все это так меня заинтересовало, что специально для этого я выехал в бригаду, чтобы посмотреть «пушку без мушки» и собрать о ней точные сведения. Вот вполне проверенный материал об этой диковинке, за правдивость которого я ручаюсь своей репутацией.

Где-то в Евпатории на складе Металлома полковник Жидилов еще осенью наткнулся на четыре орудия. Это были вполне приличные орудия, — каждое на двух добротных колесах, каждое со стволом и даже с замком. Самым ценным их качеством, привлечшим внимание полковника, было то, что к ним прекрасно подошли 76-миллиметровые снаряды зениток, которых в бригаде было хоть пруд пруди. Недостатком же их были некоторая устарелость конструкции (образец 1900 года) и отсутствие прицелов.

Первая причина полковника не смутила. Как он утверждал, в войне годится всякое оружие, вопрос лишь в способе его применения. Раз к данным орудиям подходили снаряды и орудия могли стрелять, им и полагалось стрелять по немцам, а не ржаветь бесполезно на складе.

Вторая причина — отсутствие прицелов и решительная невозможность приспособить к этой древней постройке со-

временные — также была им отведена. Полковник, выслушивая жалобы на капризы техники, обычно отвечал мудрой штурманской поговоркой: «Нет плохих инструментов, есть только плохие штурмана!» И он тут же блестяще доказал, что для предполагаемого им применения этих орудий — прицелы вовсе не нужны.

Одну из пушек выкатили на пустырь. Удивляясь перемене судьбы и покрывавшая лафетом, старушка развернулась и уставилась подслеповатым своим жерлом на подбитый бомбой грузовик метрах в двухстах от нее. Наводчик, обученный полковником, присел на корточки и, заглядывая в дуло, как в телескоп, начал командовать морякам, взявшимся за хобот лафета:

— Правей... Еще чуть правей... Теперь чуточку левей... Стоп!

Потом замок щелкнул, проглотив патрон, и старая пушка ахнула, сама поразившись своей прыти: грузовик подскочил и повалился набок.

Именно так все четыре «пушки без мушки» били впоследствии немецкие машины на шоссе возле Темишева. Их установили в укрытии для защиты отхода бригады, и они исправно повалили десять немецких грузовиков с пехотой, добавив разбегающимся немцам хорошую порцию шрапнели прямой наводкой. Именно так они били по танкам, и так же работала под Итальянским кладбищем последняя «пушка без мушки». Три остальных погибли в боях: их пришлось оставить при переходе через горы, где тракторы были нужны для более современных орудий. Но четвертую полковник все же довез до Севастополя.

Здесь ей дали новую задачу: работать как кочующее орудие. Ее устанавливали в двухстах-трехстах метрах от немецких окопов и, выбрав время, когда артиллерия начинала бить по немцам, добавляли и ее под общий шум. Маленькие, но злые ее снаряды точно ложились в траншею, пока разъяренные немцы не распознавали места «пушки без мушки». Тогда на нее сыпался ураган снарядов и мин.

Ночью моряки откапывали свою «пушку без мушки» из завалившей ее земли, впрягались в нее и без лишнего шума перетаскивали на новое место поближе к немцам, отрыв рядом надежное укрытие для себя. Немцы снова с изумлением получали на голову точные снаряды бессмертной пушки — и все начиналось сначала...

С гордостью представляя мне свою любимицу, военком бригады, бригадный комиссар Ехлаков подчеркнул:

— Золото, а не пушка. В нее немцы полторы сотни снарядов зараз кладут, а сделать ничего не могут. Расчет в блиндаже покуривает, а ей, голубушке, эта стрельба безопасна. Ты сам посуди: прицела нет, панорамы нет, ломких деталей нет, штурвальчиков разных нет. Есть ствол да колеса. А их только прямым попаданием разобьешь. Когда-то еще прямое будет, а на осколки она чихает с присвистом... Понятно?

В самом деле, все было понятно.

6. ПОДАРОК ВОЕНКОМА

Мы сидели в подвале разрушенной чайханы под Итальянским кладбищем, где было что-то вроде клуба для моряков третьего батальона, и снайпер Васильев показывал мне свою записную книжку. В ней стояли только цифры. Так, запись 14 — 9/1 — 2 означала, что четырнадцатого числа Васильев убил девять солдат и одного офицера и ранил двух (кого именно — офицеров или солдат — Васильев из самолюбия не помечал: промах, не очень чистая работа!). Он рассказывал мне, как сговаривается с минметчиками, — они дают залп по траншее, а он бьет выбегающих оттуда немцев, — как выслеживает он тропинки, как выползает на свою позицию на откосе скалы, — и, говоря это, он все время с завистью косил взглядом в угол «клуба».

Там в полутьме играл баян, и военком бригады плясал. Это был его отдых.

Военком был удивительным человеком, сгустком энергии, пружиной, все время жаждущей развернуться и увлечь за собой других. Везде на перед-

нем крае, куда бы он меня ни приводил, я замечал оживление, неподдельную радость и в то же время некоторую опасливость, — а не скажет ли, мол, сейчас военком знакомой и обидной фразы: «Заснули, орлы? Чего фрицев не тревожите? Может, война кончилась, я нынче газету не читал?..»

И везде, где я его сегодня видел, он «тревожил фрицев». Так он нашел цель для минометчиков, дождался, пока они ее не накрыли, перетащил знаменитую «пушку без мушки» на новую позицию и не успокоился, пока она не выгнала на себя яростный, но бесполезный огонь («пускай гапсы боезапас тратят!»), снарядил разведчиков на ночь за «языком», отправил в тыл раненых и теперь, томясь безработицей, плясал.

— Сколько же всего у вас на счету? — спросил я Васильева.

— Я месяц раненый пролежал, — ответил он, как бы извиняясь. — Тридцать семь... То-есть, собственно, тридцать пять: двоих мне бригадный комиссар от себя подарил.

И он рассказал, что вначале он стрелял из обыкновенной трехлинейки. Когда же он уложил десятого фрица, военком, следивший за каждым снайпером, сам приполз к нему на скалу, чтобы торжественно вручить ему снайперскую винтовку с телескопическим прицелом. Он полежал с ним рядом в его укрытии, рассматривая передний край немцев и отыскивая, где бы их вечером «потревожить». Но тут на тропинку вылезли два солдата, и военком не выдержал. Он молча взял у Васильева новую винтовку и пристрелил обоих подряд.

— Я, конечно, в свой счет их бы не поставил, — закончил Васильев. — Но военком приказал: «Бери, говорит, их себе. Во-первых, я просто не стерпел, во-вторых, винтовка не моя, а в-третьих, мне счета вести не к чему, я им и счет потерял...»

И я вспомнил, какой счет имел бригадный комиссар.

В декабрьский штурм Севастополя командный пункт бригады вместе с военкомом оказался отрезанным. Командира бригады не было (раненый, он был увезен накануне), но военком спас и штаб,

и всю бригаду. Он выслал полком через фашистские цепи восемь отважнейших моряков-автоматчиков. Пункт уже забрасывали гранатами, когда эти восемь начали бить в спину наступающим, а военком с оставшимися у него моряками встретил врагов в лицо огнем и гранатами. «Кругом компункта все сине было от мундиров», — так рассказали мне исход этого боя краснофлотцы бригады.

Баян замолк, и военком подошел к нам.

— Ну, наговорился, что ли? Время-то идет, — сказал он и стремительно пошел к выходу.

Ватник его был расстегнут, и сине-белые полосы тельняшки, с которой он не расставался с времен давней краснофлотской службы, извилистой линией волн вздымались над его широко дышащей грудью.

7. СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ

Бомбардировщик возвращался с боевого задания. В бою с «мессершмиттами» он израсходовал почти все патроны и оторвался от своей эскадрильи. Теперь он шел над Черным морем совершенно один во всем голубом и неприятно-высоком небе.

Именно оттуда, с высоты, и свалился на него «Мессершмитт-109».

Первым его увидел штурман Коваленко. Он пострелял сколько мог и замолчал. Стрелок-радист дал врагу подойти ближе и, тщательно целясь, выпустил свои последние патроны, потом доложил об этом летчику.

— Знаю, — ответил Попко. — Будем вертеться.

И самолет начал вертеться. Он уходил от светящейся трассы пуль как-раз тогда, когда они готовы были впитаться в самолет. Он пикировал и взмывал вверх. Он делал фигуры, невозможные для его типа. Пока-что это помогало: он получил только несколько безобидных пробоин в крыльях.

Фашистский летчик, очевидно, понял, что самолет безоружен. Но, видимо, он слышал кое-что о советском таране и побаивался бомбардировщика. Вся игра свелась к тому, что «мессершмитт» ста-

рался выйти в хвост на дистанцию бесспорно верной стрельбы.

Наконец ему это удалось. Стрелок-радист увидел немца прямо за хвостом и невольно нажал гашетку. Но стрелять было нечем. Стрелять мог только враг. Это был конец.

Тут что-то замелькало вдоль фюзеляжа бомбардировщика. Белые странные цилиндры стремительно мчались к «мессершмитту». Они пролетали мимо него, они стучали по его крыльям, били в лоб. Они попадали в струю винта и разрывались невиданной, блистающей на солнце, очень крупной и медленной шrapнелю. Один за другим вылетали из кабины штурмана эти фантастические снаряды.

«Мессершмитт» резко спикировал под хвост бомбардировщику, в одно мгновение потеряв выгодную позицию. Теперь уйти от него было легко, и скоро фашист отстал, видимо, сберегая горючее для возвращения.

Радист передохнул и вытер на лбу пот.

— Отвалил фриц, — доложил он летчику и любопытно спросил: — Чем это вы в него стреляли, товарищ капитан?

— Нечем нам тут стрелять, — ответил в трубке голос Попко. — Я и сам удивляюсь, с чего это он отскочил?

Тогда в телефон ворвался голос штурмана Коваленко:

— Это я его отшил. Злость одолела, — ишь, как подобрался, стервец... Чорт его знает, думаю, а вдруг он их за какие-нибудь новые снаряды примет?

— Чего это — их? — не понял Попко.

— Листовки. Я же в него листовками швырялся, всю руку отмотал, пачки-то увесистые...

И весь экипаж — летчик, радист и штурман — засмеялся. Смеялся, кажется, и самолет. Во всяком случае, он потряхивал крыльями и шатался в воздухе, как шатается и трясет руками человек в припадке неудержимого хохота.

Потом, когда все отсмеялись, самолет выправился и степенно пошел к базе совершенно один в чистом и очень приятном для глаза голубом высоком небе.

8. ПОЕДИНОК

Группа моряков-добровольцев была сброшена ночью на парашютах за линию фронта, чтобы во время атаки Третьего морского полка уничтожить связь врага, наводить панику и пробиваться на соединение со своими. Среди них был краснофлотец Петр Королев. Ему не повезло: висевший на нем мешок с автоматом, кусачками, гранатами и прочими необходимыми на земле предметами в момент прыжка с размаху ударил его в лицо. Королев потерял сознание.

Очнувшись, он обнаружил себя падающим в темной пустоте. Он успел выдернуть кольцо парашюта и снова впал в беспамятство до самой встречи с землей. Новый удар привел его в себя. Он понял, что лежит на земле, что лицо его разбито, кровь ручьем хлещет из носа и что, вдобавок, сильно болит нога, вывихнутая при падении. Он уничтожил, как полагается, парашют, хозяйственно сунув в карман два клина шелка, чтобы вытереть кровь, неостановимо струящуюся по лицу, распаковал свой мешок, прислушался к стрельбе вокруг и пошел в нужном направлении.

Итти пришлось во весь рост — ползти не давала нога, а каждый наклон головы вызывал сильное кровотечение. Однако он все же сумел подобраться к вражеским окопам, перерезав по пути две-три линии связи, но к рассвету совершенно ослаб. Он присмотрел подходящую канавку, положил возле себя автомат и приготовленные к бою гранаты, но потеря крови снова лишила его сознания.

Очнулся он при ярком свете утра. Над канавкой стояли два фашиста — молодой и постаревший, рассматривая его: очевидно, они решили, что перед ними труп. Королев схватился за автомат, но диск его выпал. Молодой солдат, увидев его движение, закричал «матрозен!» и ринулся бежать, пожилой замахнулся винтовкой, чтобы приколоть некто ожившего моряка. Королев ухватился за ствол и рывком дернул фашиста. Тот упал в канавку, и моряк подмял его под себя.

Началась страшная, неравная борьба обессиленного от потери крови моряка

со здоровьем и сильным врагом. Королев нащупал на поясе нож, но приподняться, чтобы освободить ножны, не хватало сил. Тогда он схватил гранату (запал которой был уже вставлен) и стал бить солдата по голове. Но, видимо, мало было у моряка сил — удары эти никак не могли оглушить фашиста. Так бывает во сне, когда движения вязнут в томительной вялости кошмара. На четвертом ударе пальцы моряка разжались и граната выпала. Фашист подхватил ее и со всей силой здорового человека ударил Королева по голове.

— У меня шарики в глазах запрыгали, — рассказывал потом Королев. — Только, знаете, как-то так вышло, что я не только с того не окосел, а напротив — даже очнулся... Такая меня злоба взяла — моей же гранатой меня же и по башке!.. Откуда силы взялись, — я как-ак психану на него: заорал что-то, ударил его по руке... Граната у него и выпала, я ее опять ухватил. А он уже на мне... Я снизу бью его по черепу и разворачиваюсь неловко, и сил нет... А он перепугался, кричит так, что меня дрожь пробрала, — как заяц... Молочу его, а тут граната пришла в негодность: ручку свернул. А кулаком что сделаешь?.. Тут он чем-то меня огрел, я опять ничего не помню...

Придя в себя, Королев увидел, что солдат выскочил из канавки, захватив его пустой автомат и бросив свою винтовку. Подобрал ее, Королев понял, почему тот не стрелял: она тоже оказалась без патронов. Тогда, приподнявшись, он кинул вслед солдату вторую гранату, откатившуюся в борьбе в угол канавки. Опять не хватало сил — граната разорвалась слишком далеко от солдата и слишком близко от Королева.

Забыв о ноге, он побежал за солдатом: тот уносил оружие, без которого вернуться к своим было стыдно. Он догнал его и ударил прикладом его же винтовки по затылку. Солдат закричал и обернулся. Королев бросил винтовку и потянул к себе автомат — и опять началась неравная борьба сильного и здорового солдата, единственной слабостью которого был страх и неуверенность в победе, с шатающимся, обессиленным

моряком, страшным в своей упрямой настойчивости и желании победить.

Они тянули автомат друг у друга, смотря в глаза и ругаясь каждый на своем языке. Потом Королев заметил в глазах солдата радость и злобу. Повернув на мгновение голову, он увидел, что тот смотрит на скачущего к ним всадника. Солдат снял левую руку с автомата и призывно замахал ею всаднику. Королев тоже снял одну руку с автомата, вспомнив, что на поясе еще висит последняя граната. Он поднял ее над головой, решив дожидаться всадника и тогда бросить гранату себе под ноги, чтобы взорвать и себя, и обоих врагов.

— Стоим так и ждем. Я все на фашиста смотрю, думаю, не оглушил бы он меня свободной рукой... Тогда живым заберут, много ли мне было надо: дать раза — и в глазах вовсе потемнеет. А у него выражение лица вдруг изменилось, — глаза выкатил, коробочку раскрыл и глядит мне через плечо. Я обернулся, — всадник уж рядом... Гляжу — мать честная! — это ж Коровников из первого батальона! Скачет к нам на полном газу, и ленточки вытесаются... Бросил солдат мой автомат — и тикать. Коровников его с хода одним выстрелом положил — и ко мне.. А у меня и сил никаких нет: кончились...

Оказалось, что к утру первый батальон полка уже вышел к этой высоте. В кустах наткнулись на брошенную повозку с лошадьми (очевидно, двое фашистов, оставив здесь повозку и отходя к своим, и наткнулись на Королева). Заняв вражескую позицию, батальон готовился продвигаться дальше. И тут политрук батальона, осматривая местность в бинокль, увидел на высоте двух боюющихся людей.

— Что за чорт? — сказал он недоверчиво. — А ну-ка, гляньте в снайперский прицел, он посильнее: никак там морячок французской борьбой с фашистом занимается?..

В прицел рассмотрели, что это был, и точно, моряк. Все переигранны этой борьбой снайпер передавал любопытным, выжидая момента, когда можно будет безопасно для Королева выстрелить в

солдата. Но политрук уже распорядился: Коровников вскочил на трофейную лошадь и весьма кстати прибыл на помощь Королеву.

9. БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ

Этот бой начался для краснофлотца Михаила Негребы прыжком в темноту. Вернее — дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолета, где он неловко застрял, задерживая других.

Он пролетел порядочный кусок темноты, пока не решился дернуть за кольцо: это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолета. Парашют послушно раскрылся, и если бы Негреба смог увидеть рядом своего дружка Королева, он подмигнул бы ему и сказал: «А все-таки вышло по-нашему!»

Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королев, ни Негреба не могли, понятно, упустить такого случая, и оба на вопрос, прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же... в аэроклубе — семь прыжков». Можно было бы для верности сказать — двадцать, но тогда их сделали бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью. Достаточно было и того, что при первой подгонке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как надо надевать парашют и подгонять лямки.

Однако все это обошлось, и теперь Негреба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, оружейная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблескивало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка (с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя с тыла ему навстречу). В городе кровавым цветком распускался большой высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негреба, было совершенно темно.

Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь

с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивая частыми затылками. Это и была линия фронта, и сесть следовало на ней, в тылу у румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем вкось.

Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил темноту кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негреба вынул из мешка кусачки и перекусил ее в нескольких местах, ползя вдоль нее. Тут ему пришлось в голову, что проволока может привести к какой-либо румынской части, где можно устроить порядочный аврал огнем из автомата.

Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негреба увидел трех коней и поодаль — часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока они привыкнут. За это время Негреба надумал, что можно снять часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой кинжал. Но на ползке именно эта правая рука провалилась в непонятную яму и тотчас уперлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса.

Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие оказалось одеялом, закрывавшим отдушину погребка. Там слышался чужой голос, звенели шпоры, стучала пишущая машинка. Негреба осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб батальона, может быть, — полка. Румынские офицеры сгрудились у стола за картой, по которой им что-то раздраженно показывал черноусый и давно небригтый пожилой офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подзвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. Негреба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе.

Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта, и к погребу подскакали еще двое. Негреба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и встали смиренно, — очевидно, один из вошедших был большим начальником.

Негреба швырнул гранату в отдушину и кубарем покотился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда.

Уже рассвело, когда Негреба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залег в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он сказал во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негреба навел на него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негреба обрадовался: видно, рядом прятался еще один наш парашютист. Снова застучал автомат, и теперь Негреба понял, что парашютист бьет из кустов неподалеку по румынам, которых отсюда не было видно.

Он решил переползти по кукурузе к товарищу (все же вдвоем лучше), но тут завывли мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показались десять-двенадцать румын. Двое тащили миномет, остальные беспрерывно стреляли по кустам, где сидел неизвестный Негребе товарищ. Негреба в трескотню их выстрелов добавил свою. Несколько румын упало, остальные кинулись в кукурузу, бросив миномет. Все снова стихло, только издали доносилась стрельба.

Он пополз к кустам и нашел там Леонтьева, одного из моряков их парашютного отряда. Тот лежал ничком, раненный осколками мины. Негреба повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал:

— Миша... пристрели... не выбраться...

Негреба взглянул в его белое восковое лицо и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, он найдет и свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь одного или выполнить его просьбу — тоже. Все в нем похолодело и заныло, и он ругнул себя, — нужно ему было лезть сюда... Шел бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы.. Но

хотя жалость к себе и своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилег к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел:

— Это, друг, всегда поспеется... Сперва перевяжу... Отсидимся: двое — не один...

На перевязку ушли оба пакета — и леонтьевский, и свой. После перевязки Леонтьев почувствовал себя лучше. Негреба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат и сказал:

— Ты у меня за кинжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов. Отобьемся. Слышь, наши близко.

В самом деле, впереди, за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видимо, десантный полк атаковал румын. Но от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, и кустик с двумя моряками окажется как-раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому. Негреба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву:

— Гранаты у тебя есть?

— Есть, — ответил тот, примерясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автомат. — Три штуки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду... Наложим их, Миша, пока дойдут?

— Факт, наложим, — сказал Негреба, и они замолчали.

Бой приближался. Стрельба доносилась все ближе. Солнце уже грело порядочно, и теплый, горький запах трав подымался от земли. Ждать последнего боя и с ним смерти — было трудно. Сбоку, метрах в трехстах, виднелась глупобая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румын с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог.

Он заставил себя смотреть перед собой, на ложбинку, откуда должны были появиться враги. И уже хотелось, чтобы это было скорее: ему показалось, что нервов у него нехватит и что, если это ожидание еще продлится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползет к балке, в сторону от отходящих батальонов.

— Наши сзади, — сказал вдруг Леонтьев. — Слышишь?

Негреба и сам слышал сзади четкие недолгие очереди, но боялся этому верить. Теперь он приподнял голову. Сзади, и точно, время от времени трещали автоматы. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом:

— Моряки!.. Сюда!..

Он попытался подняться, но сил у него нехватило. Негреба высунул голову из куста и в желтой кукурузе увидел неподалеку черную бескозырку, левее — вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой:

— Моряки!.. Перепелица, чертяка, справа на борт, свои!

Два парашютиста выскочили из кукурузы и перебежали к кустам.

Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в куст, и Негреба наскоро сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга.

— Тут нам не позиция, тут нас, как курей, задушат, — сказал он. — Хватайте гранаты и тащите Леонтьева, я прикрывать буду.

Котиков и Перепелица поднимали раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось еще метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Негреба ответил огнем из автомата, но и остальным двоим пришлось положить Леонтьева и вступить в бой. Часть румын повалили пулями, часть гранатой, которую кинул Негреба, выдвинувшись к ложбинке. Побежали дальше, но снова пришлось залечь и уничтожить еще девять солдат, которые, видимо, предпочли раньше других податься в тыл. Отбившись от них, моряки, наконец, скатились в балку и там нашли еще одного парашютиста — Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами, и выставил из травяного черного дула автомата. Увидев краснофлотцев, он возбужденно сказал:

— А я уж думал — мне труба. Лежу один, как перст, а их сейчас поперет — только считай!.. Ну, теперь нас — сила! Продержимся.

Леонтьев был без сознания. Негреба осмотрел повязки, они были в крови. Тогда он снял с себя форменку, разорвал ее и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад.

— Позавтракаем пока, что ли, — сказал он, и остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои флаги еще ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Негребе:

— Дай ему. Горит человек.

Негреба осторожно влил воду в рот Леонтьева. Тот глотнул и открыл глаза.

— Держись, Леонтьич, — сказал Негреба, — гляди, нас теперь сколько. Факт, пробьемся!

Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица вдруг выругался.

— Не то мы сделали. Нам бы не завтракать, а миномет стащить. Пропадает хозяйство. И мины рядом лежат..

Все посмотрели на брошенный румынами миномет, и Литовченко поднялся:

— Давай со мной кто, притащим!

— Лежи уж, — сердито сказал Перепелица. — Поперли руманешти, гляди!

И точно, из ложбинки прямо на те кусты, где недавно еще были моряки, выбежала первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежало несколько немецких автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по отступающим румынам. — Вот это тактика! — удивился Негреба. — Что ж, морячки, поможем фрицам?.. Только, чур, не по-ихнему: прицельно бить, не очередями.

Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивающего пистолетом. Из балки во фланг отступающим ударили пули моряков.

Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке, тогда они прошли бы к себе в тыл без потерь. Но моряки стреляли, открывая огнем свое присутствие здесь, стреляли, зная, что каждый вы-

стрел уничтожает еще одного врага, стреляли, помогая атаке моряков десантного полка.

Под этим огнем офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повел их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец волна румын прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела. Перепелица оглянул поле боя.

— Порядком наложили, — сказал он удовлетворенно. — А как у нас с патронами, ребята?

С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побегать румыны соседнего участка и, по всем расчетам, они неминуемо должны были наскочить на балку. Негреба предложил повторить маневр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. Потом Негреба сказал:

— Что же... Видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По тем, кто вплотную набезит.

Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Перепелица достал из мешка офицерский пистолет и посмотрел обойму.

— Шесть патронов, — сказал он. — А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно?

— Понятно, — сказал Литовченко.

— Ясно, — подтвердил Котиков.

— Точно, — добавил Негреба.

Он сорвал четыре травинки и откусил одну, подравнивая концы, зажал в кулак и протянул Литовченко.

— Откуда у тебя ихний пистолет? — спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегченно: — Не мне, длинная.

— Пристукнул ночью офицера в кукурузе, — ответил Перепелица. — Вещь

не тяжелая, а пригодится. Тащи ты, Котиков.

— Может, лучше свои патроны оставить, — раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку. — Погано ихними-то пулями...

— Коли ранят, с автоматом не управишься, а этим ли лежа всех достанешь, — сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам. — Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе... Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно.

— Ясно, — сказал Негреба и положил пистолет под руку.

— Кажись, пошли, — негромко сказал Котиков. — Ну, моряки... Коли ничего не будет, свидимся.

И моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев. Перепелица перекинул Негребе бушлат:

— Прикройся. Лежишь, что зебра полосатая. За версту видать.

— Все одно видать, — ответил Негреба. — Лучше уж так. Хоть узнают, что моряки.

И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покотившуюся к балке.

Румыны выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседал на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотно цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой все ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежало прямо на балку, видимо, чуя, что тут они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они еще раз залегли, отстреливаясь, и потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке.

Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искаженные ужасом. Они были так близко, что тяжелый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно, упрямо и скученно, как испуганное стадо, которое все сметает с своего пути.

И тогда на их пути встал Негреба, встал во весь рост, — крепкий и ладный моряк в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой.

— Эй, руманешти, огребай матросский подарок! — крикнул он в испуге и швырнул гранату. Вслед за ней из балки вылетели еще три. Четыре взрыва ахнули в потном стаде. Румыны попадали. Другие отшатнулись и, петляя, как зайцы, кинулись по сторонам. Моряки бросили еще четыре гранаты. Пролод расширился. Перепелица крикнул:

— Мишка, а ведь прорвемся: хватай Леонтьева!

Моряки мгновенно поняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев от боли пришел в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он разжал зубы и глянул на Перепелицу:

— Бросьте меня... Пробивайтесь.

Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал.

Румыны подскочили уже близко: моряков было всего пятеро, а их сотни. Они, видимо, поняли это и решили взять моряков живьем. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь ударить его штыком. Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок, но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним — второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул ее в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул:

— Тащите вдвоем, мы с Котиковым задержим!

Оба они упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негреба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое, сдерживая румын редким, но точным огнем, поползли за ними. Наконец румыны отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп.

Тут они опомнились и осмотрелись. У Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке, Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки.

Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынский автомат и гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слез, лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе. Взгляд этот, вероятно, смутил Негребу, потому что он встал и сказал с излишней деловитостью:

— Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас носилки пришлем. Идем своих искать.

И они встали в рост — четыре человека в полосатых тельняшках, в черных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками форменок, но сильные и готовые снова пробираться сквозь сотни врагов. И, видимо, сами они поразились своей живучей силищей, и Перепелица сказал:

— Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота. Сколько нас? Четверо?.. Батальон, слушай мою команду: шагом... арш!

10. ВОРОБЬЕВСКАЯ БАТАРЕЯ

Зенитная батарея Героя Советского Союза Воробьева была уже знакома фашистам по декабрьскому штурму. Тогда длинные острые иглы ее орудий, привыкших искать врага только в небе, вытянулись по земле. Они били бронебойными снарядами по танкам, зажигательными — по машинам, шрапнелью — по пехоте. Краснофлотцы точным огнем из автоматов и бросками гранат останавливали фашистов, яростно лезших на батарею, внезапно возникающую на пути к Севастополю.

Теперь, в июне, батарея снова закрыла собой дорогу к городу славы.

На этот раз фашисты бросили за нее огромные силы. Самолеты пикировали на батарею один за другим. Дымные

высокие столбы разрывов закрывали собой все расположение батареи. Но когда дым расходился и дождь взлетевших к небу камней опускался на землю, — из пламени и пыли вновь протягивались вдоль травы острые длинные стволы зениток, и снова точные их снаряды разбивали фашистские танки.

Наконец орудия были убиты.

Они легли, как отважные бойцы, лицом к врагу, вытянув свои стройные изуродованные стволы. Батарея держалась теперь только гранатами и ручным оружием краснофлотцев.

Как дрались там моряки, как ухитрились они держаться еще несколько часов, уничтожая врагов, что происходило на этом клочке советской земли, оставшемся еще в руках советских людей, — не будем догадываться и выдумывать.

Пусть каждый из нас молча, про себя прочтет три радиопраммы, принятые с воробьевской батареи в последний ее день:

«12—03. Нас забрасывают гранатами, много танков, прощайте, товарищи, кончайте победу без нас».

«13—07. Ведем борьбу за дзоты, только драться некому, все переранены».

«16—10. Биться нечем и нечем, открывайте огонь по компункту, тут много немцев».

И четыре часа подряд была по командному пункту исторической батареи двенадцатидюймовая морская береговая.

И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков; — людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презиращая смерть во имя победы.

11. В СТАРОМ РАВЕЛИНЕ

Эту старинную крепость знает всякий, кто бывал в Севастополе.

У самого выхода из бухты стоит на Северной стороне каменный форт, отвесно опуская свои высокие стены в лазоревую воду бухты. Почти сто лет тому назад он видел в этой прозрачной воде черные громады восьмидесятиче-

тырех-пушечных кораблей, затопленных поперек входа в бухту героями первой севастопольской обороны, и снятые с этих кораблей морские пушки били тогда по врагам из широких его амбразур.

Во второй севастопольской обороне правнуки нахимовских матросов снова подняли над старым равелином гордое знамя черноморской славы.

Равелин был очень нужен врагу. Завладев им, фашисты могли окончательно прекратить всякую возможность прохода в море катеров и кораблей. Равелин запирает выход из бухты, и немцы стремились как можно скорее овладеть им.

В последние трагические дни обороны Севастополя семьдесят четыре краснофлотца охраны водного района под командой капитана третьего ранга Евсеева и батальонного комиссара Кулинич дали героическому городу слово — держать равелин и выход из бухты. Они поднялись на древние каменные стены с автоматами в руках. В первой же немецкой атаке моряки уложили более пятидесяти автоматчиков, заставив остальных отхлынуть.

Тогда фашисты бросили на равелин большие силы. На старую крепость пошли танки. Сотни снарядов стали падать на гранитные стены. Эти стены умели когда-то выдерживать удары круглых бомб первой севастопольской осады, но острых и сильных современных снарядов они выдержать не смогли. Стены равелина стали рушиться, заваливая собой моряков.

Атака за атакой, с фронта и с флангов, танками и пехотой, одна за другой накатывались на равелин, накатывались и разбивались, как волны. В промежутках между атаками на старый форт падали новые сотни снарядов. Они пробивали в его стенах опромные бреши, они разваливали стены, и высокое облако сухой каменной пыли подымалось столбом к синему крымскому небу. Но каждый раз, когда немцы с гиканьем и воплями победы устремлялись на это облако пыли, из развалин били по ним очереди автоматов и пулеметов, и атака вновь захлебывалась.

Защитников форта было мало, и каждому из них приходилось драться за

целую роту. На левом фланге стоял одинокий пулемет, и возле него лежал один только моряк-комсомолец **Компаниец**, выжидая, когда на разбитые стены полезут враги. Шестьдесят немецких автоматчиков хлынули в образовавшийся после обстрела провал стены. **Компаниец** одной длинной очередью повалил тридцать врагов, и остальные откатились.

Обстрел, атаки, натиск танков продолжались три дня. Трое суток семьдесят четыре моряка противостояли огромным силам и технике врага. За широкими спинами моряков был выход из бухты, там должны были приходить корабли, и рavelин надо было держать. Надо... И моряки держали ravelин трое суток, пока не вышли из бухты все корабли и катера, и ни одному фашисту не удалось пройти через развалины ravelина до прозрачной, лазоревой воды.

Стены ravelина рушились, обвалы засыпали моряков. Краснофлотцы выползали из-под камней, отряхиваясь, и снова втискивались в щели между развалинами, выискивая цель для каждой своей пули. Даже получив ранение, они снова ползли на камни, с трудом таща за собой автомат, и снова били врага.

На воде, у стен ravelина, стояли шлюпки. Можно было сесть в них и оставить ravelин. Можно было уйти из этого ада, держаться в котором, казалось, уже не было возможности. Но это означало — отдать врагу выход из бухты. Это означало — отрезать путь тем, кто мог еще уйти из Севастополя.

И шлюпки стояли у стен ravelина в тихой, прозрачной воде бухты, прислушиваясь к разрывам снарядов, к грохоту обваливающихся камней, к трескотне автоматов, к долгой речи пулеметов. Они стояли и ждали, и мимо них проходили в море корабли и катера героического города. Ждать им пришлось долго — трое суток. Только тогда из облака каменной пыли вышли моряки, неся раненых и оружие: приказ отозвал моряков на последний корабль.

И видела шлюпки еще и такое. К концу второго дня боя к ним поднесли раненого. Это был радист, комсомолец **Грошов**, старшина второй статьи. Его откопали из-под стенки, поваленной

очередным снарядом, и решили отправить на тот берег. У воды он очнулся и понял, что его несут к шлюпкам. Он поднял голову.

— Давай назад, — сказал он хрипло. — Я еще не мертвый, куда тащите? Есть пока силы бить поганую немчуру. Неси назад...

Моряки молча шли к шлюпкам.

— Назад неси, говорю! — крикнул он, приподымаясь на носилках.

И столько ярости было в этом окрике раненого, что моряки повернули у самых шлюпок и понесли его к разваленной стене ravelина, с которой били по врагам из автоматов правнуки севастопольских матросов, строивших когда-то этот старый ravelин.

12. И МИНОМЕТ БИЛ...

В разведке под Севастополем трое краснофлотцев вышли на минометную немецкую батарею. Они бросили в окоп несколько гранат и перестреляли разбегющихся немцев. Батарея замолкла. Казалось, можно было бы возвращаться — не каждый день бывает такая удача. Но минометы были целы, и рядом лежало несколько ящичков мин.

— А что, хлопцы, — сказал раздумчиво **Абрашук**, — мабуть, трошки покидаемся по немцу?

Он взялся наводить, **Колесник** — подносить ящички с минами, а третий разведчик, армянин **Хастян**, стал к миномету заряжающим.

Немецкие мины полетели в немецкие траншеи, нанося там серьезный урон, и все пошло хорошо. Наконец, фашисты догадались, что по ним бьет их же собственный миномет. На троих моряков посыпались снаряды и мины.

Казалось бы, пора было подорвать миномет и оставить окоп. Но моряки заметили, что их батальон, воспользовавшись неожиданной поддержкой миномета, поднялся в атаку. Тогда они решили бить по немецким траншеям, пока хватит немецких мин.

И миномет бил по фашистам. Все ближе и все чаще рвались рядом с моряками немецкие снаряды. Разрывы ста-

ли обсыпать краснофлотцев землей, осколки — визжать над ухом. Колесник упал: его ранило в ноги. Перевязавшись, он ползком продолжал подтаскивать к Хастяну ящики с минами.

И миномет бил по фашистам. Он бил яростно и непрерывно. Снова в самом окопе грохнул немецкий снаряд. Хастяну оторвало кисть руки. Моряки перетянули ему руку бинтом, остановили кровь. Он встал, шатаясь, протянул здоровую руку за очередной миной, которую подал ему с земли подползший Колесник, и опустил ее в ствол.

И миномет бил по фашистам. Он бил до тех пор, пока до окопа не добежали краснофлотцы, ринувшиеся в атаку.

Даже выдавшие виды бойцы ажнули при виде трех окровавленных моряков, методически и настойчиво посылавших немцам мину за миной: один — безногий, другой — безрукий, третий — неразличимо перемазанный кровью и землей.

Раненых тотчас понесли в тыл. А Абрашук сказал:

— Эх, расстроили нашу компанию... Ну, становись к миномету... желающие... Тут еще полный ящик, бей по левой траншее, а я вперед пойду...

Он подобрал немецкий автомат и бросился вслед за атакующими моряками.

13. ПОСЛЕДНИЙ ДОКЛАД

С берега, вероятно, казалось, что на середине реки росла какая-то странная, передвигающаяся рощица белоствольных деревьев. Светлые и зыбкие, возникающие из воды и медленно опадающие, — они прорастали на пути маленького катера, и пышные, сверкающие водяной пылью, их кроны осыпались металлическими плодами.

Это был ураганный огонь с обоих берегов по узости реки. Катер, пробиравшийся в этом лесу всплесков, метался вправо и влево.

Командир его был уже ранен. Он навалился всем телом на крышу рубки и смотрел только перед собой, угадывая по всплескам, где вырастет следующая

смертоносная рощица. Он командовал рулем, и каждая его команда спасала катер от прямого попадания. Чтобы проскочить эту узость и спасти катер, надо было все время кидаться из стороны в сторону, сбивая пристрелку врага. И командир выкрикивал слова команды, все вперед, непрерывно меняя курс.

Но порой рощица светлых зыбких деревьев прорастала у самого катера, иногда сразу с обоих бортов. Это было накрытие. Тогда вода обдавала катер обильным душем, и вместе с водой на палубу падали осколки, грохоча и взвизгивая. После одного из таких накрытий рулевой не ответил на команду, и командир подумал, что тот ранен или убит, и хотел обернуться к нему, хотя двинуться ему было трудно. Но катер выполнил маневр, командир понял, что все в порядке, и продолжал командовать рулем, — и катер послушно выполнял малейшее его желание, мчался по реке зигзагами.

Наконец водяные рощи стали редеть. Только отдельные всплески преследовали катер. Потом и они остались за кормой, и впереди распахнулся широкий и мирный плес. Катер выскочил из обстрела, и на реке встала тишина, показавшаяся командиру странной.

И в этой тишине он услышал за собой негромкий доклад:

— Товарищ командир... управляться не могу...

Он обернулся. Рулевой всем телом повис на штурвале. Лицо его было белым, без кровинки, глаза закрыты. Руки еще держали штурвал, и когда он медленно пополз, падая на палубу, эти руки повернули штурвал. Катер резко метнулся к берегу.

Командир перехватил штурвал и крикнул, чтобы рулевому помогли.

Когда его подняли, он был мертв. Ступня левой ноги его была оторвана, и вся палуба у штурвала была в крови.

Это было на катере 034. Рулевым его был старшина второй статьи Щербача, черноморский моряк.

Простые рассказы

ВЛ. ЛИДИН

★

НАБОРЩИК

Черной ночью (с вечера была гроза, и теперь шел сильный настойчивый дождь) человек нашел, наконец, дом, который долго искал. Это был маленький затерянный дом на окраинной улице, похожей на широкую улицу степного села. Все было мертво в ненастной черноте ночи. С неслабеющей силой свергался обвалами дождь, и улица в воронках быстрин неслась в степь, как река.

«Газик», на котором приехал человек, остался стоять по самую подножку в дождевом потоке. Человек долго бродил вдоль стены, ища вход. Наконец он постучал в мертвое окошко, казалось, опустевшего дома. Слабая тонкая полоса света обозначила вскоре приоткрытую дверь. Нет, жизнь продолжалась здесь, в уцелевшем жилище. Горький запах пожарища стоял на улицах города — только неделю назад город едва целиком не сожгли налетевшие немецкие самолеты. Но здесь, по-домашнему оберегая тепло чьей-то жизни, горела керосиновая лампа и в черных рамках висели на стенах фотографии, и даже птица дремала в клетке, завешенная от света платком.

— Мне нужен товарищ Новоселов, — сказал приехавший, стравивая воду с пилотки.

— Я — Новоселов, — ответили ему из полумрака комнаты, и он увидел старика, очень высокого и худого, в серебряных очках, увеличивавших его глаза.

Приехавший постучал ногами, чтобы не очень наследить на полу, и пошел в комнату.

— Я — политрук Рюмин, — сказал он, — работаю в армейской газете. И вот по какому делу приехал я к вам... простите — не знаю вашего имени — отчества.

— Меня зовут Никанор Алексеевич, — ответил не очень готовно старик, все еще приглядываясь к ночному посетителю.

— Видите — какое дело, Никанор Алексеевич, — сказал Рюмин, и в ту же минуту в необозримую черноту ночи ударила зенитная пушка.

— Летает, — сказал тоскливо старик. — Мало для его злобы ясной ночи, и в ливень летает.

И они оба ощутили непрочную пустоту глухого ночного мрака с его низкими тучами, казалось, непроглядно покрывавшими город. Еще несколько раз ударила зенитная пушка и скороговоркой захлебнулся пулемет — самолет шел над городом. Уже слышен был как бы нагнетающий звук его моторов — все ближе и ближе над самой крышей дома, и Рюмин сам вместе со стариком невольно пригнулся к столу.

— Ушел, — сказал старик, выпрямляясь, — ушел, гадина.

Его впавшие щеки еще больше втянулись, и скулы остро торчали, выдавая все, что переживает сейчас этот человек.

— Я к вам по делу, Николай Алексеевич, — сказал Рюмин снова, — сами понимаете, если разыскал вас в такой поздний час... Дело в том, что нам для газеты срочно нужен наборщик. Наши наборщики отстали где-то в пути. Вот вы — старый наборщик — не можете ли нам выпустить нашу газету? Ведь каждый ее номер уходит на фронт.

Тот сидел против него, положив на стол руки с большими синими жилами, набравшие не один миллион строк за его долгую трудовую жизнь. Увеличенные глаза под очками глядели на коротко обстриженную голову посетителя, на его обожженное степным солнцем лицо, на всю эту молодость, такую далекую, точно пришедшую из-за десятка степей...

— Плохой наборщик я стал, — сказал, наконец, он с горечью. — Главное, слепну, товарищ... ничего не поделаешь. Я ведь уже восьмой год не работаю. Но что же, если такое срочное дело... попробую.

Четверть часа спустя они вышли в черный мрак ночи. Дождь еще лил, и поток жесся с журчанием.

— Давайте руку, сюда, — сказал Рюмин и помог сесть старику в залитый водой сквозь порванные целлюлоидовые боковины «газик».

Машина осторожно поползла по выбоинам окраинной улицы.

— Сыновей у меня нет, вот в чем главное дело, — сказал старик, как бы обращаясь к себе самому, — нечем перед народом оправдаться. А горько, товарищ Рюмин, сидеть сложа руки, когда вся Россия воюет...

— Ну, вы свое отслужили, сделали что могли, — ответил тот, — сколько вы знаний, сколько книг, Никанор Алексеевич, в народ пустили.

И он подумал о его узловатых отяжелевших руках, собиравших букву за буквой человеческие слово и мысль в течение десятилетий. Ему нравилось, что на старике старомодная круглая черная шляпа и что будто в очередную ночную смену пошел тот следом за ним, словно и не было восьми лет перерыва в работе.

В маленькой типографии с одной плоской машиной и несколькими наборными кассами все было знакомо до последней верстатки, до гарнитуров заглавных шрифтов, которыми набирались афишки для кино и городские объявления. Три лампочки, подтянутые веревками, висели над кассами, и наборщик привычно, осязая наощупь почти каждую литеру, перебрал знакомый металл, которому надлежало стать словом и призывом к действию.

Под утро Рюмин пришел в типографию. С перехваченными ремешком волосами, привычно выхватывая букву за буквой, старик набирал.

— Вот видите, Никанор Алексеевич, и вы воюете, — сказал Рюмин ему. — Может, прочтут наши бойцы и пошлют лишний снаряд... тут все-таки и вашего труда капля будет.

Он снова работал, старик. Снова пахло знакомыми запахами керосина и краски, и плоская машина листала металлическими своими полосами листы, и был знакомый ночной труд, когда утром, еще на раннем рассвете, уже первые сыроватые листы газеты приносят людям новости, разочарования и радости — все, из чего состоит человеческая жизнь. Он был доволен, что вспомнили о нем в черноте военной ночи, — он снова был нужен, снова тяжелели литеры в его руках, как пули, которыми завтра будут стрелять по врагу.

Утром он не ушел из типографии, а остался мыть шрифт — он не был здесь семь лет, и теперь все нужно было повести так, как он привык за долгие годы своей работы. На его глазах разрасталось бывшее степное село и становилось городом, и были построены типография и хлебный завод, и большая школа, и белый и могучий, как крепость, элеватор. Немцы разбили элеватор и школу, и груды камней лежали теперь там. Он проходил мимо развалин, и руки его сжимались в кулаки, и он снимал свою круглую шляпу и вытирал пот со лба — так сильна была в нем теперь ненависть...

Он промыл шрифт, металл блестел, и это походило на оружие, готовое к бою. Утром грузовик увез на фронт пачки свежих, еще пахнувших краской газет, и теперь у него была снова цель жизни. Потом находу он ненадолго заснул на клеенчатом диване в корректорской.

— Нет, Никанор Алексеевич, так не годится, — сказал Рюмин, найдя его здесь. — Надо силы беречь... а у вас их не так-то уж много, — но он понимал все: и жадность к делу рук, привыкших к труду, и чувство, что вот он, старый наборщик на покое, может снова трудиться наравне с другими.

— Мне по моей злобе танк водить впору, — сказал старик, снова уже готовый к труду. — Во что наш город, подледы, превратили.

Но он не знал, что это только начало. Три дня спустя, в ранний утренний час, немецкий самолет бросил бомбу в электростанцию. Электричество в городе погасло, машина в типографии остановилась. Газету только начинали печатать, это значило, что она утром не выйдет.

— Что же, будем тискать вручную, — сказал наборщик спокойно, как будто не в первый раз приходилось ему вертеть тяжелое колесо машины.

Газету тискали вручную, и оттиски получались неровные. Но газету все же можно было читать, и к полдню грузовичок, как обычно, повез пачки на фронт. Вечером, забежав в типографию, Рюмин увидел, что при свете керосиновой лампочки, приближая каждую букву к глазам, старик набирает. Букву за буквой накладывал он на верстатку, и первая строчка набора росла. Рюмин хотел подойти к нему и сказать, чтобы тот перешел на работу по верстке, но не решился это сделать. Была какая-то сила душевного напряжения в том, что набирает старик эти строчки, которым завтра надлежит пробудить чье-то, может быть, дремлющее сознание.

Немецкие самолеты прилетели ночью и во второй раз зажгли город с разных сторон. Был ветер, и деревянные

дома загорались один от другого. Маскировочная бумага розовела на окнах, и в типографии полыхал тревожный отсвет пожара.

— Товарищ Рюмин, — сказал политуру наборщик. — Может, пошлете кого-нибудь провести мою старуху... как бы она не сгорела.

Он стоял со своей верстаткой в руке, высокий и едва согнутый временем, и ремешок по-старинному поддерживал длинные седые волосы над его лбом. Рюмин сам взял машину и поехал на окраинную улицу, откуда однажды в ненастную ночь привез старика. Он поймал себя на том чувстве, что дом этот стал ему теперь близок, как многие, родные с детства места. Пожар дом миновал, и дом не сгорел.

— Вы на меня не обижайтесь, Никанор Алексеевич, — сказал Рюмин позднее, — но вы меня удивили. Может быть, ваш дом уже горит, а вы набираете, будто ничего не случилось.

— Мне перед народом не так-то уж много времени оправдаться осталось, — ответил тот вразумительно. — А где работа моя, там и дом мой.

День спустя началась эвакуация города. На степи уже горели хлеба, и всю ночь через город прогоняли скот и табуны лошадей. Из типографии нужно было вывезти шрифт, пришли походные пыльные грузовики, с окон содрали листы маскировки, и война хлынула внутрь...

— Вот, дедушка, какие дела, — сказал старику один из саперов, приехавших готовить к подрыву здание типографии. — Полетит твоя типография, ничего не поделаешь. А оставлять так нельзя.

Он долго что-то бурлил в углу и прилаживал, и старик вместе с другими выносил наборные кассы и драгоценный тяжелый шрифт, с которыми прощался, может быть, навсегда... К вечеру, когда все было готово и нагруженные стояли грузовики, Рюмин забежал в покинутую и разоренную теперь типографию. Столько хотел он сказать старику в этот последний час расставания, чувствуя, что здесь (он

вспомнил, как при свете керосиновой лампочки подносил тот буквы к слепящим глазам) оставляет он какую-то незаполнимую часть своей жизни. И как бы из прошлого, из его детства, когда отец клал руку ему на плечо, стараясь прочесть все сыновьи его мысли, глядели теперь на него увеличенные под стеклами очков внимательные и грустные глаза старика.

— Я тут немного шрифта приберегу, товарищ Рюмин, — сказал старик, отвечая его не высказанным мыслям. — Может, понадобится вам народу весть подать... или, может, партизанам газетку печатать...

И он показал на припрятанный

шрифт, похожий сейчас на припрятанное до времени оружие.

Поздно, в десятом часу, когда все стало серо в сумерках, первые грузовики потянулись из города. Сидя в своем «газике» с порванными целлулоидными боковинами, Рюмин смотрел на притихнувшие дома, на развалины и пепелища. Где-то на окраинной улице остался старый наборщик с его припрятанным шрифтом, из которого снова возникнет человеческое призывное слово. И никакие испытания войны, и никакие утраты — ничто не страшило его теперь, Рюмина, вдруг с необыкновенной полнотой ощутившего эту неугасимую силу жазни.

★

ДОЧЬ

Дети жили в лагере под Челябинском, обе девочки. Маленькая приняла перемену жизни с оживлением — все было ново, переезд в поезде, цыплячий шум детского сада, который перевозили полностью прямо из-под Москвы, деревни бежали за окнами. Младшей было шесть лет, старшей было — пятнадцать. На московском вокзале, где матери провожали детей, старшая, Люся, вдруг за несколько часов стала взрослой. Мать смотрела на ее сразу исхудавшее, побледневшее лицо с большими темными, впервые узнавшими тревогу и разлуку глазами, и это был уже не прежний певчий дрозд, распевавший по утрам зеснким голосом — от полноты жизни, от презыбытка сил...

— Ну, что ты, доченька... чижиха моя, — сказала она ей, и они обе заплакали. — Подожди, будет время — вернешься еще назад с песнями.

И поезд ушел. Мать долго сначала шла, потом почти бежала по перрону, и в окне среди других детских лиц было родное лицо с большими, полными слез глазами. Она заменяла теперь младшей мать — в первой за свою жизнь поездке...

Мать вернулась домой, и ее встретила тишина опустевшей квартиры.

Никто звонким незадумчивым голосом не будет трещать и петь по утрам, и на спинке кровати осталось ситцевое пестрое платьице, которое некому теперь надевать вместо утреннего халатика. Младшая, еще в желтом пуху, жила большею частью в детском саду, летом — в лагере под Москвой. Старшая была уже помощницей и советницей. Когда отец ушел на войну, они обе — мать и дочь — передумали по-взрослому не одну общую думу, сронили не одну слезинку по-женски...

Месяц спустя из Челябинска пришло первое письмо. Мать унесла с собой на работу большой самодельный конверт с печатью военной цензуры. Почерк был еще детский, но бежали уже строгие строчки. Она была за старшую в столовой детдома, наблюдала за ребятами. Младшая здорова и весела — что ей делается. Сначала скучала по матери, потом привыкла. «Только я не дождусь часа, когда вернусь домой к тебе. Вместе легче переносить все невзгоды и трудности». И мать, почти читав письмо до этих строк, почти охнула: «Ах, чижиха моя... совсем взрослая стала!»

Вечером, вернувшись домой, она долго разбирала старое детское белье, нашла носочки, такие крохотные

(«А ведь еще как будто вчера ты носила их, доченька...») и поплакала наедине. Письма от мужа были часты сначала, потом вдруг разом оборвались, — может быть, он погиб, может быть, пропал без вести... Дочь ей была особенно нужна теперь — в женском суровом одиночестве. Наступала зима. Дом, большой и холодный, ожидал ее вечернего возвращения с работы. Полахали, как зарницы, вспышки — это были зенитки, и черное небо без единой звездочки как бы нервно содрогалось и вздрагивало.

В ноябре, когда первый выпавший снег уже печально белел и зима входила в жилища, человек долго, чиркая спичками, искал нужный номер в глухой черноте холодного парадного.

— Здесь живет Наталья Михайловна Грекова? — спросил он в темноту приоткрывшейся двери. — Его впустили. — Я привез от вашей дочери Люси письмо и посылку.

В маленькой комнате с керосиновой лампочкой (электричество в районе было выключено) он взгляделся в взволнованное лицо женщины. Торопливо, слегка дрожащими пальцами, она начала было вскрывать большой самодельный конверт.

— Боже мой... спасибо вам, — говорила она между тем. — Вы даже не знаете, какую принесли мне радость. Ну, как они, мои девочки?

— Мы с Люсей приятели, — сказал человек. — Я — врач их детского дома, моя фамилия — Калюжин.

— Не знаю, как вас благодарить, — ответила женщина, — что вы нашли время сами принести мне это... Но вы не можете себе представить, как тяжело для меня разлука с детьми, особенно со старшей дочерью.

Она хотела прочесть письмо сейчас же и почти просительно поглядела на ночного посетителя. Но все-таки письма не прочла и только надорвала тонкую полоску на одной стороне конверта. Час был поздний, Москва затихала. Зима широко уже носилась по темным московским улицам.

— Мы не знаем еще детского сердца, — сказал врач, как бы продолжая

такой важный сейчас для них обоих разговор. — А ведь оно живет только чувством. Ему все и проще как будто, и гораздо труднее...

Он разглядел теперь при свете лампочки скромную комнату, фотографии знакомых ему девочек на столе, все это женское внезапное одиночество, сменявшее, как и для многих тысяч женщин, вчерашнее обжитое тепло семьи.

— Расскажите мне, прошу вас, все по порядку, — сказала женщина. — Как они приехали, как устроились... ведь вы знаете — для матери важна каждая мелочь.

— Устроили детей хорошо, в большом доме под городом. Дети первое время, правда, трудновато переносили разлуку с матерями... там ведь в большинстве малыши, до десятилетнего возраста. Но потом, конечно, привыкли. Вашу Люсю назначили при столовой за старшую. Она отличная девочка, — добавил он задумчиво. — Она на моих глазах стала взрослой. — Он помолчал. Сухим снежком ударило о карниз затемненного окна. — У вас есть какие-нибудь сведения о вашем муже? — спросил он вдруг как бы мельком.

— Нет, скоро пятый месяц я ничего не имею, — ответила женщина. — Не знаю, что и подумать.

Она смотрела теперь мимо него, в угол комнаты. Врач несколько раз провел по ставшему небритым за день беготни подбородку.

— Детское сердце... — сказал он затем. — Ах, какая это хрупкая и драгоценная вещь!

— Вам Люся что-нибудь говорила? — спросила женщина быстро.

— Нет, ничего, — ответил он. — Но вы просили всё по порядку. — Он снял пенсне, и его близорукие глаза, ставшие вдруг до нежности вялыми, смотрели теперь на женщину, почти не видя ее. — Так вот, дети устроены хорошо. Уход за ними отличный... при доме есть несколько коров, молоко всегда свежее... — и он рассказал, как первые дни дети неприкаянно бродили по большому саду при доме, а вечером перед сном многие плакали без всякой причины, тоскуя по матери. Потом это

обошлось. А теперь о ее детях... Маленькая — здоровая веселая девочка. Нет, ничем не болела. А старшая... — он снова задумался. — Право, иногда могло показаться, что не она вам дочь, а вы ей... столько в ней этой материнской заботы. Дети вообще безошибочно многое чувствуют сердцем.

— Мне кажется, что вы что-то не договариваете, — сказала женщина встревоженно. Она вдруг насторожилась, и это неожиданное ночное посещение, и то, что в занятом своем дне нашел он время притти, пробудило в ней недоверие. — Скажите мне правду: она здорова?

— Да, она здорова вполне... — Он не договорил. Она выжидала. — Она просила меня сказать вам, — добавил он не сразу, — что пока она существует, вы не одиноки, Наталья Михайловна.

— Я не понимаю, — сказала женщина нетерпеливо, — прошу вас, говорите яснее...

Она даже прибавила свету в лампочке, чтобы лучше теперь взглядеться в неуловимое выражение его лица. Минуту они молчали. Сухой снежок шуршал и шуршал. Военная зима наступала на город.

— Люся возложила на меня трудную обязанность, — сказал он затем, — подготовить вас к одному тяжелому известию. Дело в том, что в наш детский дом под Челябинском вернулся с фронта бывший директор Савельев... У него повреждена левая рука, оторваны три пальца. Это странная случайность, но он был в одном полку с вашим мужем.

Женщина сделала движение к нему.

— Он убит?

Врач ответил не сразу.

— Полк попал в тяжелое положение... это было под Днепропетровском. Савельев видел вашего мужа в последний раз, когда шел бой за переправу. Немцы бились здесь свыше трех суток, пока им удалось переправиться.

Он замолчал.

— Я слушаю, — сказала женщина коротко.

— Больше его Савельев не видел...

— Он погиб, — сказала женщина просто и как бы проясненно.

— Да, повидимому, это так. И вот Люся, которая узнала об этом, просила меня вам помочь, если только вам нужна моя помощь. Впрочем, она, вероятно, пишет об этом в письме. Я хотел бы вам еще сказать, как она сама это все пережила. — Он смотрел теперь на огонь лампочки, словно помогавший сосредоточиться. — Это было вечером, в саду. Маленькие только-что поужинали, и каждый должен был сложить салфетку и продеть в кольцо под своим номером. Савельев только недавно вернулся из города, и мы сидели с ним на скамейке возле террасы. Я подозвал Люсю, и мы сидели на скамейке втроем. — И доктор тут глубоко вздохнул. — Савельев стал рассказывать нам про войну, — продолжил он затем, словно стараясь не пропустить ни единой подробности. — Люся спросила у него, где он потерял пальцы на руке? Он ответил — под Днепропетровском. Тогда она спросила, не знал ли он капитана Грекова? И Савельев рассказал сразу всё, я не смог его предупредить. Люся не заплакала, даже не вскрикнула. Только лицо у нее стало очень бледным и каменным. И первое, что она сказала... — доктор пристально поглядел на лицо женщины — оно было тоже бледным и каменным, очень похожим теперь на лицо дочери, — было — «Бедная мама!» Нет, я не видел ее плачущей и, в сущности, мне даже не пришлось ее утешать. Она стала только вдруг очень озабочена, у нее явилась потребность действовать. Она знала, что через день я уезжаю в Москву. Вечером я получил от нее такую записку... она прислала эту записку с другой девочкой, — может быть, у нее были заплаканы глаза, и она не хотела, чтобы кто-нибудь увидел ее в горе. Вот эта записка. — Он достал бумажник и нашел сложенную треугольником бумажку. — Прочтите ее сами.

Женщина взяла треугольник, испсанный знакомым детским почерком, и приблизила к лампе записку.

«Вы уезжаете в Москву, — было написано без обращения. — Я прошу

вас зайти к моей маме. Она живет на Арбате, после 7 часов вечера вы ее непременно застанете. Мама очень слабая и нервная. Когда я приеду, я ее поддержу и буду помогать ей. Но сейчас я не могу уехать отсюда, потому что на моих руках сестра, она еще маленькая. Я очень прошу вас зайти к маме. Скажите ей, что когда я вернусь, ей ничего не нужно будет делать. Я буду служить и работать. Я умею хорошо вязать и научусь стенографии. Здесь в Челябинске есть курсы стенографии. Так что у нее не будет никаких забот, и мы вместе вырастим Милочку. Потом скажите ей, что папа погиб, как герой, и я всю жизнь буду стараться быть достойной его. Я всю жизнь буду гордиться, что я его дочь. Он умер за нашу родину. И Милочка, когда она подрастет, будет тоже гордиться папой. Это очень тяжело потерять отца. Вы его не знали, он был замечательный. Но я горжусь, что я дочь героя, и мне кажется, что он совсем не погиб, а будет жить долго, долго и про него будут петь песни, как про Чапаева. И потом передайте еще маме посылочку».

Она кончила читать и медленно,

прежним аккуратным треугольником сложила записку.

— Я очень благодарна вам, что вы пришли, — сказала она тихо, и только слипшиеся волосинки ее ресниц выдавали сейчас то, что она чувствует. — Обнимите моих девочек за меня и расцелуйте... Целовать их сейчас некому.

Был двенадцатый час, надо было идти. Врач поднялся.

— Вы можете быть уверены... — сказал он, и по тому, как она пожала его руку, он понял, что можно не договаривать.

Женщина проводила его до темного парадного, и холодная московская ночь дыхла из черноты. Потом женщина вернулась обратно. Она не могла теперь унять дрожь рук, и тугая бечевка посылки не слушалась ее пальцев. Она все же развязала ее и открыла крышку продолговатой коробки из-под сбуви. Аккуратным рядом, переложенные бумажками, лежали десяток трогательно насушенных сухарей, несколько конфет и две пачки печенья — всё, как еще недавно она сама посылала ей, незадумчивой и смешливой чижихе, экономя и припрятывая самое вкусное для дочерей.

Три года войны

В. СТАМБУЛОВ

★

БОГИ ЖАДУТ

Три года назад по приказу темного проходимца Гитлера германские орды ринулись на Европу.

Три года потоками льется кровь. Потерян счет жертвам, принесенным ненасытному Молоху войны. История не помнит таких бедствий и страданий, какие обрушились сейчас на человечество. Голод и нищета царят в недавно еще богатой Европе. Миллионы беженцев, потерявших родной кров и нажитое тяжелым трудом достояние, как толпы теней, скитаются по дорогам. Фашистские убийцы не щадят ни стариков, ни женщин, ни детей. Дымятся развалины цветущих городов. Шедевры искусства, творения великих писателей и мыслителей, редчайшие манускрипты гибнут на гигантском костре, устроенном варварами. Пошаженные временем древние соборы, неповторимые монументы зодчества, чудесные воплощения современной технической мысли превращены в груды мусора. Народы, гордящиеся тысячелетней независимой государственностью, создавшие мировую культуру, шедшие во главе человеческого прогресса, обращены в рабское, крепостническое состояние. Европа стала огромным кладбищем, страшным средневековым застенком, где орудут гитлеровские палачи. Таковы итоги трех лет войны, разожженной кровавым изувером Гитлером.

Помыслы правителей Германии были веками направлены на военный гра-

беж, завоевание чужих земель, порабощение других народов. Под напором ее диких орд рухнула латинская цивилизация, исчезновение которой погрузило человечество во мрак средневековья. На восток и на запад несли смерть, огонь и опустошение ее свирепые меченосцы и черные рейтеры.

После победы над Францией в 1870 году и создания германской империи немецкие честолюбивые замыслы и стремления к внешней экспансии не знали более предела. Клика пангерманистов бредила завоеванием целых государств, строила планы покорения Востока, рвалась к Африке, Индии, Тихому океану. Финансово-промышленная олигархия жаждала рынков, колоний, мировых монополий, грабительских войн. В Германии внедряли нелепую легенду, будто «бог создал немцев, чтобы повелевать другими народами». Поднимая культ международного разбоя на высоту философской теории, генерал фон Бернгарди писал незадолго до прошлой войны: «война есть орудие прогресса, регулятор жизни человеческой, необходимый фактор цивилизации, сила созидаящая. Ошибка думать, что никогда не следует провоцировать войну или стремиться к ней».

Германский империализм добился своего. Спровоцированная им война четыре года обжирала кровью Европу. Но она закончилась страшным разгромом Германии и жалкой капитуляцией в Компьене.

Этот прозренный урок не заставил гер-

манскую плутократию отказаться от своих бредовых замыслов о покорении мира. Германия начала готовить нынешнюю мировую войну, когда еще не просохла ее подпись под Версальским актом, подводившим плачевные итоги немецкого поражения 1918 года.

К началу тридцатых годов германские военные приготовления продвинулись настолько далеко вперед, сколько позволял их тайный подпольный характер. Окончательное их завершение было возможно лишь при явном нарушении международных договоров, открытием вступления на путь воинствующей политики. Но прежде, чем решиться на этот чреватый серьезными последствиями шаг, надо было сломить всякое сопротивление внутри самой Германии.

Немецкий народ в массе не хотел войны. Он хорошо помнил страшные результаты кайзеровской авантюры, приведшие Германию на край гибели. Пока эти массы не были приведены к гробовому молчанию, всякая попытка спровоцировать новую войну прозвучала вызвать революционный взрыв. Лишить немецкий народ голоса, заранее задушить в нем всякую попытку сопротивления, — такова была первая задача правящей германской олигархии. И тогда-то на первом плане немецкой политической арены появилась зловещая фигура Гитлера, окруженного на все готовым сбродом из уголовных подонков Германии. Подписывая указ о назначении Гитлера рейхсканцлером, дряхлый маршал Гинденбург подписал смертный приговор европейскому миру.

Господа Крупцы, Тиссенсы, Шахты хорошо знали, что они делают, когда остановили свой выбор на мафиике Гитлере. Через несколько месяцев погромы и казни, концентрационные лагеря и дикий террор гестапо водворили в Германии молчание кладбища. Всякая оппозиция была сломлена. Торжествующая плутократия могла свободно готовить любую авантюру.

Но военные приготовления не были еще закончены. Международная обстановка складывалась далеко не в пользу Германии. И в то время как лихоградошно создавались гигантские воору-

жения, Гитлер лицемерно твердил о своем «миролюбии».

Выборы 12 ноября 1933 года были проведены фашистами под лозунгом: «С Гитлером против мирового безумия вооружений». «Никто не должен думать, что я настолько безумен, чтобы хотеть войны», — кричал тогда Гитлер. «Главной целью нашей политики является превращение Германии в оплот мира», — заверял он после неудачного путча в Австрии, когда его теперешний вассал Муссолини двинул свои дивизии к Бреннеру. И в мае 1935 года, когда подписывался франко-советский пакт о взаимопомощи, Гитлер, не краснея, заявлял: «Тот, кто в Европе будет разжигать войну, может желать только хаоса».

Но абиссинская авантюра Муссолини пробила первую серьезную брешь в европейской системе коллективной безопасности, и Гитлер не замедлил ею воспользоваться. 7 марта 1936 года, в нарушение Версальского и добровольно подписанного Германией Локарнского договоров, немецкие войска были введены в демилитаризованную Рейнскую зону. Первый акт европейской трагедии начался.

Глухо и постепенно, но грозно и неудержимо разгорался очаг мирового пожара, разожженного Германией. Гитлеровские дипломаты продолжали еще разыгрывать «апостолов мира», но немецкие фугаски разрушали уже беззащитные испанские города, а «неизвестные» подводные лодки топили мирные коммерческие суда. После захвата слабой, безоружной Австрии, комбинируя грубый военный нажим с дипломатическими маневрами, Гитлер завладел Чехословакией. Европа быстрыми шагами шла к катастрофе. Она разразилась 1 сентября 1939 года, когда немецкие полчища вторглись в Польшу.

Боги Рура жаждали крови. Теперь она хлынула реками.

«МОЛНИЕНОСНАЯ» ВОЙНА

Известно, с какой тщательностью и методичностью кайзеровская Германия готовилась к войне 1914—1918 годов. Но это было лишь детской игрой по

сравнению с той военной подготовкой, которую проводил Гитлер. Уже с 1936 года пресловутый лозунг Геринга: «Мухи вместо масла» властно проводился в жизнь правящей германской верхушкой. Население было посажено на голодный паек, обложено непосильными налогами, превращено в крепостную рабочую силу. Все ресурсы государства были брошены на производство вооружений, строительство новых военных заводов, проведение стратегических автострад, освоение дорогостоящих синтетических эрзацев, создание огромных запасов сырья для военной промышленности. И все же наиболее дальновидные немецкие военные специалисты считали, что война может кончиться для Германии новой катастрофой, и рекомендовали Гитлеру более осторожную политику.

Эти советы оставались, однако, гласом вопиющего в пустыне. Властители Рура, чью волю беспрекословно выполнял Гитлер, требовали скорейшей войны. Да и сам фюрер, тупо уверовавший в свой «военный гений» и в свое «божественное предназначение», упрямо твердил, что он предпочитает воевать, пока ему только пятьдесят лет. Возраст диктатора становился «ультимативом» военных планов Германии.

Как ни велики были собранные Германией стратегические запасы, но даже для фельдфебельского мозга Гитлера было очевидно, что их нехватит на продолжительную войну. Поэтому Гитлер строил свои стратегические планы из расчетов на короткую, «молниеносную» войну, которая должна была обеспечить полную немецкую победу в течение нескольких месяцев.

Германские военные специалисты проявили особую изобретательность в выработке новых методов «молниеносной» войны. Германская армия была в невиданных до того масштабах оснащена самой современной военной техникой. Были созданы и освоены тактические и стратегические приемы, основанные на массовом применении авиации и действующих в тесном взаимодействии с ней мотомеханизированных частей. Огромное внимание было уделено так на-

зываемой «секретной войне», то-есть организации шпионажа, диверсий, созданию мощных «пятых колонн», внутреннему разложению противника при помощи специальной пропаганды, на которую гитлеровцы не жалели золота.

Фашистские заправилы знали, что Германия не способна воевать на два фронта. С давних пор это было аксиомой для германского генерального штаба. Поэтому гитлеровская дипломатия напрягала все усилия, чтобы помешать европейским государствам объединиться против общей опасности и позволить таким образом Германии разбить своих противников поодиночке. С этой целью Гитлер охотно заключал пакты о «дружбе и ненападении», торжественно клялся каждому правительству «сохранять вечный мир». Он сам цинично писал: «Нет такого торжественного пакта, который рано или поздно не был бы разорван или не превратился бы в пустышку. Щелетильный человек, который считает себя обязанным советоваться со своею совестью прежде, чем поставить свою подпись, — просто дурак. Пусть он не занимается политикой... Почему я сегодня не должен подписывать соглашений и спокойно не отказаться от них завтра? Безусловно, я подпишу любую бумажку, это мне не мешает действовать в нужный момент так, как я буду считать необходимым в интересах Германии».

Это чудовищное вероломство, возведенное в высший принцип, так же рассматривалось Гитлером, как великолепное орудие «молниеносной» войны, ибо внезапное нападение на очередную жертву, не ожидающую столь неслыханной гнусности даже от фашистских бандитов, позволяло ему быстрее сломить ее неподготовленное сопротивление.

Уже с первых дней польской кампании Гитлер применил все свои методы «молниеносной» войны. Он бросил против Польши подавляющие по численности силы, авиацию и мотомеханизированные части. Польская армия оказывала сопротивление, но она была значительно слабее захватчиков. Гитлер ввел в действие самые варварские при-

емы войны. Германские летчики непрерывно бомбили мирные города и местечки, обстреливали из пулеметов скопившихся на дорогах беженцев, заботясь главным образом о моральном эффекте, вызываемом уничтожением жилых кварталов, созданием грандиозных, видимых на сотни километров очагов пожаров, убийством возможно большего количества мирных жителей. Массовые расстрелы населения в занятых немцами городах, страшные еврейские погромы, повальный грабеж довершали картину. Это была первая репетиция возмездной немцами «тотальной» войны, и никто не ожидал, что она на самом деле будет столь ужасна, что в XX веке государство, носившее название цивилизованного, будет способно на такие зверства и злодеяния.

3 сентября 1939 года Англия и Франция объявили Германии войну, но они еще не закончили своих военных приготовлений и не оказали полякам эффективной помощи. Французское командование сделало слабую попытку атаковать германскую «линию Зигфрида» между Сааром и Мозелем. Однако наступление на этом участке сразу наткнулось на большие трудности. Французская армия не имела достаточного количества авиации, танков и тяжелой артиллерии для форсирования немецких линий. Уже через несколько дней «наступление» превратилось в мало активные «поиски разведчиков». Впрочем, французы скорее задавались целью произвести демонстрацию для отвлечения из Польши нескольких германских корпусов. Спасти этим Польшу они, конечно, не могли.

Если в 1914 году французская военная доктрина заслужила справедливые упреки в том, что была основана исключительно на наступательной тактике, не считаясь ни с какими обстоятельствами, то французские военные планы перед нынешней войной страдали как раз обратным пороком: все они исходили из принципа «оборонительной войны». Непроступность «линии Мажино» считалась догматом, и французский генералитет рассчитывал отсидеться за этой стеной, пока не будет отобомбли-

вана вся армия, пока Англия не перекинёт на континент достаточного количества дивизий, а морская и экономическая блокады не заставят самую Германию попытаться форсировать французские укрепления и, следовательно, погнать на убой миллионы солдат. Таким образом наступательный дух французской армии был парализован с самого начала.

Пассивное поведение союзников позволило Гитлеру без помехи закончить польскую кампанию и перебросить свой корпус на западный фронт. Первый «раунд» был выигран Германией, и Франция впоследствии жестоко поплатилась за то, что не решилась или не захотела воспользоваться благоприятным моментом, чтобы со всей силой ударить по немцам в то время, когда их главные силы были заняты в Польше. Однако при всей своей наглости и самоуверенности Гитлер в свою очередь не решился предпринять немедленное наступление против Франции. В войне произошла «пауза», длившаяся до весны 1940 года и явившаяся первой брешью в реализации планов «молниеносной» войны. Эта пауза позволила Англии серьезно организовать экономическую блокаду Германии, прекратить ввоз на территорию противника столь необходимого ему стратегического сырья и горючего: каучука, меди, никеля, редких металлов, смазочных масел, нефти и т. п.

Английской блокаде Германия могла противопоставить лишь контрблокаду самой Англии. Для этого были использованы магнитные мины — новинка этой войны, секрет которых, впрочем, был быстро разгадан англичанами, — подводная война и рейдеры, отправленные немцами на просторы Атлантического океана. Серьезные потери английского судоходства вызвали, однако, лишь подводные лодки. Беспрецедентное использование в качестве рейдеров линейных кораблей обошлось Германии очень дорого: оно стоило ей «карманного броненосца» — «Адмирала графа Шпее», потопленного британскими крейсерами у устья Ла Платы в декабре 1939 года. Но и подводная война да-

леко не достигла тех целей, которые были поставлены германским командованием. Несмотря на значительное количество торпедируемых английских судов, снабжение Англии сырьем, продовольствием и вооружениями совершалось нормально. США изменили свой закон о нейтралитете, и их военная промышленность работала теперь на союзников. Первая фаза борьбы за Атлантику не дала Гитлеру тех результатов, которых он от нее ожидал. Война затягивалась и грозила принять характер «борьбы на истощение», выдержать которую Германия была не в состоянии. Волей-неволей Гитлеру приходилось играть ва-банк. Как ни рискованна была попытка прорвать западный фронт, у него не оставалось иного выхода. Для осуществления ее он решил начать нападение с нейтральных, слабо вооруженных стран, рассчитывая, что внезапность атаки помешает союзникам притти им на помощь. Помимо этого в его игре были еще иные карты, и он возлагал на них оправдавшие себя надежды.

«ПЯТАЯ КОЛОННА» В ДЕЙСТВИИ

Выбор Норвегии в качестве первого объекта германской атаки диктовался как военной неподготовленностью этой страны, так и той успешной работой по созданию «пятой колонны», которую провели там немецкие агенты.

Пропаганда фашизма встречала неблагоприятную почву в Норвегии, известной своим традиционным демократизмом. Зато отсутствие бдительности, легкомысленное отношение к подрывной деятельности гитлеровцев со стороны норвежских властей, питавших иллюзию, что положение нейтральной державы предохраняет Норвегию от агрессии, позволили немецким агентам на вербовать во всех важных пунктах страны по несколько сот человек самого опасного уголовного сброда.

В феврале 1940 года германское командование приступило к операции. Ее первым этапом была оккупация Дании, которой внезапно, среди ночи, было

предъявлено ультимативное требование о пропуске германских войск, подкрепленное угрозой беспощадной расправы в случае отказа. Датское правительство испугалось и уступило. В тот же день немецкие войска были уже на северной оконечности Ютландии, где лишь узкий морской пролив отделял их от Норвегии. Одновременно, тщательно прячась в лабиринте фиордов, германские торговые суда вошли в главнейшие норвежские порты: Осло, Ставангер, Берген, Нарвик. Ничего не подозревавшие норвежские таможенные чиновники, поднявшиеся на борт для осмотра груза, были арестованы. В трюмах каргоботов, танкеров, лесовозов скрывались германские солдаты. При помощи членов «пятой колонны» они овладели портами, стратегическими пунктами, аэродромами. С этого момента транспортные самолеты начали непрерывно высаживать немецкие войска. Так совершилось это чисто пиратское нападение на мирную нейтральную страну.

Захват многочисленных в Норвегии аэродромов и важнейшего из них — Ставангерского — сделал невозможным для союзников высадку сколько-нибудь значительного десанта в южной Норвегии. Переброшенные в северную и среднюю Норвегию небольшие англо-французские силы не смогли оказать существенной помощи отважно защищавшейся, но малочисленной и плохо вооруженной норвежской армии. Вскоре они вынуждены были эвакуироваться обратно. Норвегия была оккупирована. Единственно, что удалось англичанам, — это нанести серьезные потери германскому флоту.

Успехи норвежской операции придали необыкновенную дерзость Гитлеру. Еще до ее полного завершения германское командование решилось на генеральное наступление на западном фронте.

На рассвете 10 мая 1940 года немецкие полчища вторглись в Голландию и Бельгию, которым за 24 часа до этого Гитлер вручил декларацию с своих самых «миролюбивых» намере-

ниях. Это вторжение проводилось теми же диверсионными методами, что и захват Норвегии. Задолго до начала операции в Бельгию и Голландию непрерывно просачивались крупные группы немецких «туристов», «коммерсантов» и пр., отказав в въезде которым не посмели не на шутку перепуганные бельгийские и голландские власти. К моменту нападения в обеих странах существовала многочисленная «пятая колонна». В тот момент, когда германские войска переходили голландскую границу, обрушиваясь на передовые оборонительные линии, прошедшие накануне по Рейну в голландские порты «мирные» баржи, шаланды, пароходы выгружали из своих трюмов тысячи немецких солдат. Массовые парашютные десанты (часть парашютистов была в гражданской одежде или в голландской форме), сброшенные в Роттердаме, около Гааги и т. д., быстро овладели, с помощью «пятой колонны», главными аэродромами и опорными пунктами. Они нашли заранее заготовленные склады оружия и боеприпасов. В ряде мест немецкие парашютисты-диверсанты спокойно укрылись по данным им адресам у членов «пятой колонны», чтобы выступить в решительный момент. Во многих пунктах члены «пятой колонны» воспрепятствовали открытию шлюзов и взрыву плотин, т.-е. затоплению местности, являвшейся основой голландской обороны. По всей Голландии были совершены диверсионные акты, взорваны мосты, нарушена связь между отдельными войсковыми соединениями и командованием. Фальшивые радиопередачи, исходившие якобы от голландского правительства и высшего командования, дезориентировали армию. Голландские войска, получившие подготовку для борьбы в обыкновенных военных условиях, не справились с этой совершенно новой, не описанной ни в каких военных руководствах обстановкой. После нескольких дней борьбы их сопротивление было сломлено.

То же самое происходило в Бельгии. Такие, считавшиеся неприступными

укрепления, как канал Альберт (его расматривали, как продолжение «линии Мажино») и форт Эбен-Эмаэль в оборонительной системе Льежа, были взяты немцами главным образом благодаря предательским действиям «пятой колонны» и парашютным десантам в тылу, ставшим возможными благодаря наличию этой колонны.

К 15 мая главные опорные пункты Бельгии были уже в руках немцев. Французское командование, рассчитывавшее на более продолжительное сопротивление бельгийцев, не оказало им во-время надлежащей помощи. Двинутая англичанами во Фландрию армия была явно недостаточна, чтобы сдержать натиск десятков моторизованных германских дивизий. Бельгия была раздавлена, и германские полчища хлынули во Францию.

КОММЕНТАРИИ К НОВОЙ ГАЛЛЬСКОЙ ВОЙНЕ

Юлий Цезарь оставил потомству классические «комментарии к галльской войне», где он описал, как ему удалось завоевать и покорить Галлию. Молниеносный разгром первоклассной французской армии и предательская капитуляция французских правителей еще в большей степени нуждаются в серьезных комментариях.

После победы 1918 года Франция пользовалась репутацией самого сильного военного государства в Европе. Но на деле с каждым годом эта репутация становилась все более дutoй. Моторизация французской армии значительно отстала от немецкой. Главная же слабость французозов заключалась в крайне немногочисленной и крайне устаревшей авиации. Французское командование возлагало все свои надежды на неприступные укрепления «линии Мажино», но, в результате преступной близорукости правителей и военного руководства Франции, эта линия прикрывала лишь восточную границу, кончаясь у Лонгви, и могла быть легко обойдена с севера после захвата Бельгии. Однако

причины поражения Франции кроются значительно глубже чисто военно-технических вопросов.

Чтобы уяснить их, надо отдать себе отчет в том чудовищном предательстве, которое прочно свило гнездо в правящей верхушке Франции и годами подготавливало будущие события.

Во Франции шла смертельная борьба между народом, твердо отстаивавшим свои революционные завоевания, демократические принципы великого исторического прошлого, и финансовой олигархией, жадной кликой «200 семейств», стремившейся превратить Францию в подобие «Третьего рейха», видевшей в Гитлере и гитлеризме свою естественную опору.

В «Моей борьбе» Гитлер заявлял о своей смертельной ненависти к Франции. Один из видных нацистов Гаустофер писал: «Зараженная негритянской кровью, Франция является чумным очагом в Европе. Она является вечным врагом Германии. Целью национал-социалистической политики должно стать уничтожение Франции». Еще более ответственный представитель Третьего рейха — министр земледелия Вальтер Дарре грозил в столь же злобном тоне: «С полным сознанием, без сантиментов, мы разрушим Францию, потому что эта недостойная, гнусная нация не заслуживает другой судьбы. Франция — это страна и нация болтунов и лентяев. Кулаки наших храбрых солдат научат этих корыстолюбивых неженков, этих пропойц, непрерывно работать на нас».

Стремление стереть с лица земли Францию, завладеть ее богатствами, разграбить все ее достояние, скопленное трудом поколений, сделать ее жалким придатком господствующей в Европе Германии годами являлось краеугольным камнем гитлеровской внешней политики. А виднейшие политические и общественные деятели Франции раболепствовали перед фюрером, испуганно проповедывали франко-германское сближение.

Всем известно было, что Гитлер готовит нападение на Францию, но

Шнейдер-Крезо снабжал Германию сотнями танков, а де Вандель—лотарингской рудой, необходимой немцам для производства тяжелой артиллерии и брони. Французские промышленники умышленно саботировали производство самолетов, чтобы вызвать падение правительства «Народного фронта» и заставить отменить новые рабочие законы. Гитлер предпринял интервенцию в Испании, чтобы создать там вассальное государство, являющееся угрозой Пиренейским границам Франции. Но французская правящая верхушка, предавая национальные интересы страны, своей пресловутой политикой «невмешательства» помогла фашистам удушить испанскую республику — естественную союзницу демократической Франции. Безопасность Франции требовала сохранения Чехословакии с ее великолепной армией, сильной авиацией, крупнейшими военными заводами и лучшими танковыми дивизиями в Европе. Но виднейшие французские юристы откопали договорные параграфы, толкуя которые, они заявляли, что формально Франция не обязана защищать Чехословакию, а французские министры полетели в Мюнхен на поклон к германскому диктатору, чтобы выдать ему французскую союзницу связанной по рукам и по ногам.

В 1938 году Гитлер истратил на подкуп французской печати около 400 миллионов франков. Об этом было заявлено с трибуны французского парламента. Сколько он потратил на подкуп французских политиков, осталось тайной. Но с той поры, как гг. Лавали, Дорио, Деа и др. стали его ревностными поклонниками, они сделались миллионерами.

Задолго до войны миазмы капитулянтства носились в воздухе, отравляли атмосферу Франции. С 1935 года в одном из крупных парижских театров ставилась пьеса известного писателя и видного чиновника министерства иностранных дел Жана Жироду. Она называлась: «Троянской войны не будет». Фантазия автора изображала Гектора в «благородной» роли ярого

противника войны, готового вернуть Мэнелая Елену, философски сносящего оскорбления и пощечины ахейского посланца, лишь бы избежать разрыва. Это было символом. И возвращающийся со спектакля обыватель размышлял: «Действительно, не помешай какой-то безумный троянец миротворчеству Гектора, Пергам не дымился бы в развалинах, троянцы избежали бы своих злоключений, а изгнаннику Энею не пришлось бы с горечью говорить царице Дидоне: «Infandum regina jubes renovare dolorem». Уступить — вот мудрость жизни.

Когда началась война, чьей-то влиятельной таинственной рукой из тюрем были выпущены все видные «кагуляры», лишь недавно готовившие государственный переворот с помощью щедро предоставленного Германией и Италией оружия. Более того, они немедленно получили назначения на ответственные посты в штабах, армии, цензуре и т. п. Лица, всем известные, как платные агенты Гитлера, вроде де Бринона, Дорио, Деа, продолжали играть видную роль в политической жизни страны. После прорыва французских линий у Седана в правительство был введен заведомый пораженец Петэн, тот самый Петэн, чья тень неизменно витала за кулисами всех фашистских заговоров, Петэн, намеревавшийся когда-то сдать Вердэн, Петэн, продолжавший, будучи послом в Испании, поддерживать во время войны дружеские связи со своим «коллегой» — германским послом. И когда правительство уже было в Бордо, вся гитлеровская клика — Лаваль, Дарлан, Боне, Деа, Дорио — срочно появилась на сцене, чтобы взять власть в свои руки и бросить Францию под ноги Гитлеру еще в то время, когда была возможность успешно продолжать борьбу.

Конечно, численное и техническое превосходство германской армии сыграло огромную роль в поражении Франции, но Гитлер никогда не смог бы одержать полной и столь молниеносной победы над Францией без капитальной помощи, которую ему оказали

французские предатели точно так же, как ахейцы не взяли бы Трои без знаменитого коня.

Троянским конем — «вероломным даром данайцев» — для Франции была «пятая колонна», насчитывавшая в своих рядах виднейших представителей правящей верхушки и открывшая Гитлеру ворота страны.

Есть победы, которые никогда не прославят в истории оружие победителя. К таким победам относится победа Гитлера над Францией.

ВОЗДУШНАЯ МАРНА

Франция была побеждена, вычеркнута из списка великих держав. Ее новое правительство было послушно каждому слову победителя. Но война была далеко не закончена. Оставалась Англия с ее флотом, быстро усиливающейся авиацией, огромными ресурсами Британской империи, поддержкой самой мощной индустриальной страны мира — Соединенных Штатов. Пока незыблемо стояла эта крепость, победа Гитлера была миражем.

В первое время после капитуляции Франции Гитлер был так опьянен успехом, что завоевание Англии казалось ему легким делом. Безудержно хвастливая фашистская пресса наперебой кричала, что вторжение на Британские острова и капитуляция английского правительства — вопрос нескольких недель. Германское командование лихорадочно готовилось к форсированию Ла-Манша.

По условиям перемирия, Германия оккупировала все северное и западное французское побережье с его аэродромами, морскими базами, арсеналами, доками, береговыми укреплениями. Поскольку еще ранее были захвачены берега Норвегии, Голландии, Бельгии, Англия оказывалась окруженной с трех сторон. Немцы могли наносить страшные удары британскому судоходству, нападать с воздуха на английские порты и военно-промышленные центры, предпринять высадку десанта. Англия

оставалась один на один с таким мощным военным противником, как Германия, к которой за несколько дней до французской капитуляции, как шакал, почуявший легкую добычу, присоединилась Италия. Выступление Италии ставило под угрозу средиземноморские имперские пути Великобритании, ее наиболее важные опорные пункты — Гибралтар, Мальту, Александрию, Суэц.

Однако, несмотря на такое критическое положение, Англия не помышляла о прекращении борьбы. Английская армия понесла большие потери под Дюнкерком. Она лишилась там почти всего своего вооружения, но английская авиация была еще сильна, и правительство принимало меры, чтобы любой ценой отразить нападение.

Когда-то на вопрос некоего высокопоставленного лица, чужь ли не самого кайзера, возможен ли десант в Англии, — известный германский стратег Мольтке-старший иронически ответил: «Десант возможен. Невозможно лишь вывезти его обратно». Но Гитлер и Геринг считали, что для них вообще нет ничего невозможного. Хотя и без того слабый германский военный флот лишился уже в первый год войны свыше трети своих боевых единиц, немцы считали, что при поддержке авиации, торпедных катеров и дальнобойной артиллерии с французского берега десант можно будет осуществить посредством мелкосидящих, не боящихся минных полей судов, а также транспортных самолетов и парашютистов. В продолжение ряда недель германское командование сосредотачивало эти суда: баржи, шаланды, рыбачьи лодки и даже плоты во французских, бельгийских и голландских портах. Но и англичане в свою очередь не сидели сложа руки. Их авиация непрерывно бомбила и рассеивала скопления предназначенных для операции судов, а также подвозные пути, пристани, склады, нефтеперегонные заводы и т. п. Несмотря на все усилия немцев, операция срывалась. Тогда германское командование решило начать с подавления английской авиации. С конца лета 1940 года на-

чались массированные воздушные налеты на Англию, целью которых было разрушить английские аэродромы и уничтожить английские самолеты. Для руководства воздушным штурмом на север Франции прибыл сам Геринг.

Штурм продолжался несколько недель. Он стоил Германии огромных потерь в самолетах и летчиках, но не привел к ожидаемым результатам. Были дни, когда англичане сбивали в день 150—180 германских самолетов, а английская авиация оставалась несломленной. Если 10 сентября «Фелькише беобахтер» хвастал, что «беспощадная борьба за Лондон будет доведена до конца, за ней последует борьба за Англию в собственном смысле этого слова», то уже через месяц «Дейче альтмейне цейтунг» характеризовала германские операции против Англии, как «воздушную осаду» и предупреждала о возможности «долгой военной зимы без окончательной развязки». Германский журнал «Дас Рейх» проговаривался, что «война против Англии может затянуться» и что «вопрос о германском вторжении в Англию не имеет уже существенного значения».

Это было знаменательное признание. Начало с такою помпой «наступление Геринга» явно провалилось. Оно стоило Германии свыше 2000 самолетов и нескольких тысяч летчиков. Немцы потерпели «воздушную Марну». Война против Англии приняла «воздушно-окопный» характер.

Гитлеровцы пытались еще зимою 1940—1941 года сломить Англию массированными налетами на ее крупнейшие города и варварским разрушением наиболее культурных центров страны. Но и эта тактика не дала ожидаемых от нее результатов. Английское население стойчески переносило все ужасы зверских бомбардировок. В нем лишь росла ненависть к вандалам и решимость продолжать войну до полного их разгрома. «Мы это выдержим» — таков был лозунг англичан.

После французской капитуляции гитлеровцы заносчиво заверяли, что за-

кончат войну захватом Англии еще в 1940 году. Теперь им приходилось выпутываться из неловкого положения. И вот, как по команде, все органы германской и итальянской печати начали в один голос утверждать, что не на Ла-Манше, а на Средиземном море, в примыкающих к Нилу пустынях, на этой жизненной артерии Британской империи, будет решена судьба войны.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ИНТЕРМЕДИЯ ИЛИ ОБМАНУТЫЙ ДУЧЕ

Составившая себе историческую известность своими громкими поражениями, Италия не решалась вступить в войну до тех пор, пока разгром французской армии не стал явным фактом. Впрочем, и тогда, объявив войну союзникам, она начала со взрыва мостов, соединявших ее с Францией, дабы ненароком остатки французской армии не вторглись в Ломбардию. Но дуче явно не терпелось полакомиться французской добычей. Накануне объявления войны его зять — министр иностранных дел Чиано — заявил турецкому послу: «Подобная выгодная Италии ситуация может встретиться один раз в 5 000 лет, и Италия этого случая не упустит; война окончится через сорок дней».

Италия немедленно предприняла наступательные операции против англичан в Восточной Африке. Сконцентрировав значительные силы, итальянцы захватили важные пункты Судана: Кассалу и Галабат, угрожая суданской столице Хартуму. Другие итальянские отряды вторглись в британскую колонию Кению и в Британское Сомали, откуда им удалось почти полностью вытеснить англичан. Но главные операции итальянской армии развернулись в Северной Африке в сентябре 1940 года. Этим операциям итальянское командование придавало огромное значение, так как конечной их целью был захват Египта и Суэца.

Но одновременно Муссолини спешил осуществить и другие свои захватнические цели уже в самой Европе. Пос-

ле разгрома Франции ему пришлось пережить горькое разочарование. Гитлер не поддержал его требований о немедленной передаче Италии Савойи, Корсики, Ниццы, Туниса. Немцы во все не собирались бросать столь лакомые куски итальянскому шакалу. Кроме того, Гитлеру еще нужна была Франция Петэна, с ее мало пострадавшим военным флотом и драгоценными морскими базами в неоккупированной зоне и в колониях. Муссолини не оставалось ничего другого, как подумать о иных компенсациях. Эти компенсации лежали под рукою в виде слабой Греции, казалось, не способной сопротивляться такой первоклассной военной державе, как Италия. 28 октября 1940 года начался новый акт международного разбоя. Огромные итальянские силы без всякого повода вторглись в мирную, нейтральную Грецию.

Греческая кампания составляет еще более позорную страницу итальянской военной истории, чем все прежние, носящие, однако, столь громкие имена, как Кустоцца, Адуа, Капоретто, Гвадалахара. Крошечная греческая армия не только вытеснила захватчиков со своей территории, но и перенесла наступление в Албанию, победоносно продвигаясь к берегам Адриатики и грозя сбросить в море итальянские силы.

Греческие события довольно неожиданно predeterminedили и судьбу африканской кампании. Воспользовавшись греческими аэродромами, в ночь с 11 на 12 ноября английская авиация нанесла сокрушительный удар по итальянской морской базе Торонто. Во время этого налета английскими самолетами-торпедоносцами была выведена из строя половина итальянских линкоров, притом самых мощных и самых современных. В результате, итальянский флот, и до того времени отсиживавшийся главным образом под защитой береговых батарей и не рисковавший померяться силами с англичанами, оказался более не способным поддерживать итальянские операции в Северной Африке. Кроме того, греческая война от-

влекла итальянские силы от Египта и Суэца, а ряд поражений нанесли непоправимый удар и без того не блестящему престижу итальянской армии и глубоко ее деморализовали. 9—10 декабря 1940 года внезапно перешедшие в наступление британские войска наголову разбили итальянцев между Соллумом и Сиди-Баррани, а затем победоносно вторглись в Киренаику.

Одновременно с операциями в Ливии началось и английское наступление в Восточной Африке. К лету 1941 года итальянцы потеряли не только Абиссинию, но и свои старые колонии: Эритрею и Сомали. 6 апреля южно-африканские войска вошли в Адис-Абебу, а 20 мая у Амба-Алаги сдался в плен сам вице-король Абиссинии — герцог д'Аоста. «Восточно-африканская империя», созданием которой так кичился дуче, была безвозвратно потеряна. Во всех операциях в Африке итальянцы потеряли сотни тысяч пленных, тысячи орудий, танков, самолетов. Это была настоящая катастрофа. Но главное значение английской победы было в крушении германо-итальянских планов — быстро закончить войну путем захвата Египта и Суэца и вытеснения английских морских и сухопутных сил из восточной части средиземноморского бассейна. Новый вариант «молниеносной войны» закончился в Африке тем же фиаско, что и на Западе Европы.

Пока происходили позорнейшие для итальянского командования и для самого Муссолини события в Греции и в Африке, германский союзник оставался в роли постороннего наблюдателя. Предоставить Англии хорошенько потрепать Италию входило в сокровенные планы Гитлера. Надо было сбить спесь с итальянского дуче и доказать ему, что «неполноценная» итальянская раса не может претендовать на равную с Германией роль в будущей Европе, а также на сколько-нибудь значительную долю при дележе добычи. Только тогда, когда разгром итальянской армии принял катастрофический характер, а в самой Италии начались не сулящие ничего хорошего народные волнения,

Гитлер «великодушно» протянул руку помощи своему союзнику, помышлявшему теперь лишь о спасении.

Решение о сокрушительном ударе на Ближнем Востоке было принято Гитлером ранней весной 1941 года, когда окончательно выяснилось, что воздушная и подводная война на Западе не способна дать Германии столь необходимой ей быстрой победы. В марте месяце в Италию были посланы под начальством генерала Роммеля значительные германские мотомеханизированные силы, долго тренировавшиеся и специально подготовленные для войны в пустыне, а также крупные авиационные соединения. Однако переброска германских войск в Африку представляла серьезную проблему. К этому времени в Средиземном море явно господствовали английские морские силы. Транспортировка германских войск могла кончиться катастрофой. Но Гитлер добился от своих послушных агентов в Виши разрешения использовать тунисские территориальные воды. Пролив между Сицилией и Тунисом настолько узок, что его можно пересечь за одну ночь под покровом темноты. Но для полной страховки Гитлер решил принести в жертву часть итальянского флота.

Сильной итальянской эскадре было приказано выйти в море и направиться к южно-греческим берегам. 28 марта у мыса Матапан произошло крупное сражение с английскими морскими силами, во время которого итальянцы потеряли несколько тяжелых крейсеров и линкор класса «Литторио». Это сражение, крайне ослабившее военно-морские силы Италии, позволило Роммелю перебросить почти без потерь свои бронетанковые дивизии в Северную Африку.

Стратегические планы Гитлера на Ближнем Востоке заключались в следующем: германская армия должна была молниеносно захватить весь Балканский полуостров, сокрушительным ударом подавив там всякое сопротивление, а затем через острова Архипелага двинуться на Сирию, Ирак, Палестину,

Иран; другая часть железных клещей, представляемая армией генерала Роммеля, предназначена была для вытеснения англичан из Киренаики, захвата Египта, с главной английской военно-морской базой в восточной части Средиземного моря — Александрией, и Суэца. Таким образом, весь Ближний и Средний Восток, с их важнейшими стратегическими путями, базами, нефтью, источниками сырья, очутился бы в руках немцев. Одним из важных элементов успешного осуществления этого плана было поднятие восстания при помощи «пятой колонны» в Ираке, Иране и Палестине, а также использование, при преступном сообщничестве правительства Виши, Сирии в качестве плацдарма проникновения в Аравию и Иран.

В начале апреля весь этот гигантский механизм германского плана был приведен в действие. Немецкие орды вторглись в Грецию и Югославию, и сопротивление этих слабых стран было быстро сломлено. Необходимость оказать помощь грекам и югославам вынудила англичан оттянуть часть своей армии из Северной Африки, чем воспользовался Роммель для своего стремительного наступления. В Ираке немецкий агент Рашид Али Гайлани поднял восстание, поддержанное немцами путем переброски войск на транспортных самолетах через Сирию, где власти Виши любезно предоставили для этой цели свои аэродромы. Казалось, все шло согласно тщательно разработанным планам гитлеровцев. Но в конечном счете, несмотря на ряд крупных успехов, в своей совокупности план потерпел фиаско. Немцы заняли Грецию, Крит и остальные Эгейские острова, но они не смогли перебросить значительных сил в Сирию. Восстание Рашид Гайлани было быстро подавлено англичанами, после чего английские и де-голлеские войска освободили от власти предателей Виши Сирию. Наступление Роммеля захлебнулось у ворот Египта в значительной мере благодаря стойкости гарнизона Тобрука, взять который

немцам не удалось, несмотря на все усилия и жертвы.

Каковы были причины крушения столь стройных и безукоризненных на бумаге гитлеровских планов?

Предоставив итальянцам потерпеть поражение в Албании и Африке, Гитлер, несомненно, в корне изменил сущность германо-итальянского союза, поставив Италию на положение вассальной страны, всецело зависящей от своего «покровителя». Но эта политическая победа сыграла для Германии роковую роль. Гитлер не учел, что битва за Ближний Восток была проиграна не только для Италии, но и для него самого. Он полагал, что достаточно будет заменить в нужный момент неспособную итальянскую армию германскими войсками, и все стратегические цели, в том числе и захват Египта и Суэца, будут достигнуты в короткое время. На деле предшествовавшие поражения итальянцев, а главное, страшное ослабление их военно-морских сил предопределили дальнейшие события. Господство английского флота в восточной части Средиземного моря не дало возможности немцам перебросить свои войска в Сирию и сорвало наступление Роммеля, не позволив ему получить достаточных подкреплений. Ликвидация итальянских сил в Восточной Африке устранила опасность плавания в Красном море и ведущей к нему части Индийского океана, в результате чего Америка смогла посылать свои суда с военными материалами непосредственно в порты Красного моря.

Второй важной причиной провала немецких планов на Ближнем Востоке явился жестокий просчет гитлеровцев в отношении арабских народов. Немцы вели бешеную пропаганду в Ираке, Сирии и Палестине, наводняли эти страны своими агентами и не жалели золота, чтобы заставить весь арабский Восток служить их целям. Но арабы прекрасно знали, что им сулят гитлеровское господство, и не желали, чтобы их кости служили мостом, по которому Гитлер ринется к Ирану, Индии и Египту. Немецким агентам удалось

завербовать в арабских странах лишь самую ничтожную «пятую колонну», как это показало закончившееся жалким провалом восстание Рашид Гайлани в Ираке. Сирия, со своей стороны, лишь приветствовала приход англо-французских сил, освободивших ее от власти агентов Виши, готовившихся предательски передать ее в руки гитлеровцев.

БОРЬБА ЗА АТЛАНТИКУ

Захват Гитлером северных и западных берегов Франции с их портами, военно-морскими базами и аэродромами позволил немцам значительно усилить борьбу за Атлантику. Базируясь на французское побережье, германские подводные лодки расширили зону своих пиратских действий до самых отдаленных границ Атлантического океана, в частности до берегов Америки и Исландии. Другой серьезной угрозой для английского судоходства явились непрерывные рейды немецких бомбардировщиков, нападавших даже на хорошо конвоируемые караваны. В дополнение к этим средствам немцы прибегли вновь к рейдерам. На этот раз назначением рейдеров было не только удары по торговому судоходству, но и борьба с крупными боевыми кораблями английского флота, дабы создать впечатление, что Германия начинает господствовать на океанских просторах.

Значительная часть и без того слабого германского флота была выведена из строя еще во время норвежских операций. В частности сильные повреждения получили крупные линкоры — «Шарнгорст» и «Гнейзенау». Их пришлось увести в доки в Брест, где непрерывные атаки английской авиации еще более ухудшили их состояние. Но Германия располагала двумя сверхмощными, недавно спущенными на воду линкорами по 35 000 тонн (фактически, вероятно, около 50 000 тонн) — «Бисмарком» и «Тирпицем». Гитлер решил использовать эти мастодонты для борьбы с английским господством в Атлантическом океане. В двадцатых числах

мая прошлого года «Бисмарк» в сопровождении тяжелого крейсера «Принц Евгений» под покровом глубокой тайны покинул норвежские берега. Однако он все же был замечен английской воздушной разведкой. Самые мощные суда были вызваны немедленно с разных баз для борьбы с ним. 24 мая в Датском проливе произошло первое столкновение, кончившееся трагически для английского линейного крейсера «Худ». «Бисмарк» пытался уйти от преследования, но, пораженный самолетами-торпедоносцами с авианосца «Викториос», он был прикончен 28 мая авиацией и эсминцами в 400 милях от Бреста, где он надеялся укрыться. Его карьера была крайне кратковременной, а гибель его показала всю тщету попыток одержимого манией величия Гитлера потягаться с англичанами на море. Потеря «Бисмарка» явилась непоправимым ударом для германского флота.

Хотя английское судоходство и несло весьма серьезные потери, но борьба за Атлантику оборачивалась далеко не так, как это хвастливо предсказывал Гитлер. Уже в январе прошлого года главнокомандующий германским флотом адмирал Редер вынужден был признать, что «последняя схватка с Англией будет не легкой».

Гитлеровская «борьба за Атлантику» была направлена не только против Англии. После разгрома Франции честолюбивые планы Гитлера вообще не знали границ. С этого момента он вел фактически борьбу не за покорение одной Европы, а за покорение всего мира.

Тревожные предупреждения президента США Рузвельта, что война приближалась к берегам Америки, были вовсе не риторической формулой. Тысячи итало-германских агентов лихорадочно вербовали последние годы мощные «пятые колонны» в странах Латинской Америки и в самих США, готовили там диверсионные акты, занимались усиленным шпионажем и т. п. Немцы надеялись использовать для вторжения на американский кон-

тинент французские базы в Западной Африке, как, например, Дакар, а также французские колонии на Антильских островах.

Заслугой президента Рузвельта является то, что в то время как некоторая часть американского общественного мнения продолжала беспечно относиться к назревающей опасности, не веря в ее реальность, а некоторые деятели проповедывали «политику умиротворения» путем любых уступок Гитлеру, Рузвельт настоял на принятии грандиозной программы вооружений и взял курс на усиление помощи Англии.

Уже немедленно после поражения Франции США передали Англии 50 необходимых ей для охраны атлантических путей эсминцев взамен предоставления Америке ряда баз на принадлежащих Англии в Западном полушарии островах. С середины 1940 года Америка начала энергично готовиться к войне, переведя всю свою гигантскую промышленность на военные рельсы и посвятив все свои колоссальные ресурсы борьбе с гитлеровской агрессией. По выражению президента Рузвельта, Америка стала арсеналом демократии. США приняли закон о предоставлении Англии займы или в аренду вооружений, разрешив таким образом острый вопрос финансирования войны. Американское правительство ввело патрулирование западной части Атлантического океана, значительно облегчившее Англии задачу охраны судоходства. Для пополнения недостающего коммерческого тоннажа Америка реквизировала находящиеся в ее портах германские, итальянские, датские и французские пароходы.

Следующим этапом была оккупация американскими силами Исландии и охрана морских подступов к ней, что значительно сокращало риск доставки военных и иных грузов в Англию.

Со включением Америки, еще до ее вступления в войну, в активную борьбу за Атлантику эта борьба становилась все более безнадежной для Гитлера.

«КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» ТЕВТОНСКИХ ВАРВАРОВ

«Молниеносная война» тянулась уже 21 месяц, а Гитлер не достиг еще ни одной из поставленных им себе конечных стратегических задач. Он одержал легкую победу над рядом европейских государств, оккупировал и поработил большую часть Европы, диктовал ей свою волю. Но та окончательная победа, которая решила бы исход войны, дала бы, наконец, давно обещанный им «победоносный мир» истощенному, смертельно уставшему немецкому народу, была теперь так же далеко от него, как и в первые дни войны. Вторжение в Англию было отложено на неопределенный срок. Гибралтар, Суэц, Александрия, Мальта — все важнейшие британские имперские пути и опорные пункты — попрежнему оставались в руках англичан. Британский флот был сохранен и продолжал господствовать на море, в то время как германские и итальянские морские силы потеряли большую часть своих лучших боевых единиц. Как ни чувствительно ударила контрблокада по английскому судоходству, она не могла поставить Англию на колени. Воздушные бомбардировки, проводившиеся с крайним ожесточением и стоившие Германии огромных потерь в авиации, оказались не в силах разрушить английскую промышленность, уничтожить английские порты, подавить английскую авиацию. Не удалось им и деморализовать, устрашить английский народ. Сознавшая опасность Америка деятельно готовилась к борьбе. Таковы были результаты войны для Германии в момент, когда Гитлер совершил самое гнусное из своих преступлений и самый роковой для него шаг, вероломно напав, в нарушение своих торжественных обязательств, на Советский Союз.

Война против Советского Союза и захват его наиболее богатых территорий всегда входили в планы Гитлера. Об этом красноречиво свидетельствуют бредовые страницы «Моей борьбы» и ряд других полоумных «откровений» германского фюрера. Гитлеровская

клика и ее хозяева — немецкая плутократия — всегда были одержимы звериной ненавистью к великой свободной стране, к невиданному расцвету ее культуры, к счастливой жизни населяющей ее братской семьи народов. Разрушить эту культуру, завоевать огнем и мечом богатейшее достояние советских народов, превратить их в рабов, работающих на «арийских господ» — вот те цели, которые с момента своего появления на свет ставила себе хищная гитлеровская свора. СССР был ярким факелом, освещавшим свободолюбивым народам путь к прогрессу, свободе, счастливому существованию человечества. Не выносящие света хищные фашистские совы поставили своей задачей во что бы то ни стало погасить этот светоч. Еще в двадцатых годах появился на свет пресловутый «план Гофмана», предусматривающий разгром и уничтожение советского государства, и национал-социалисты немедленно сделали его составной частью своего звериного евангелия.

В наиболее серьезных германских военных кругах считали все же войну против СССР опасной для Германии. Учитывались и колоссальные пространства Советского Союза, и его неистощимые материальные ресурсы, и исторические примеры борьбы против России, приводившей к гибели дерзновенных завоевателей, и огромная мощь Красной Армии. Кроме того, крупнейшие немецкие военные специалисты всегда исповедывали доктрину невозможности для Германии вести войну на два фронта.

Но Гитлер не хотел слушать никаких возражений. Одержанные им легкие победы совершенно вскружили ему голову. Он заверял, что война против Советского Союза будет «молниеносной» и завершится в течение нескольких месяцев грандиозной победой. Она не явится войной на два фронта, ибо западные державы будут лишь благодарны ему, Гитлеру, за то, что он избавляет их от «опасности коммунизма», и останутся посторонними, сочувствующими немцам зрителями в этом поединке. Моральный же и материальный эффект

разгрома Советского Союза будет настолько огромным, что западным державам останется после этого лишь признать германскую гегемонию и закончить войну на тех условиях, которые им продиктует Гитлер. Таков был план, явившийся самым большим просчетом во всех расчетах Гитлера.

22 июня 1941 года сконцентрированная на западных советских границах огромная германская армия без всякого повода и предупреждения вторглась в пределы Советского Союза, а немецкие самолеты бомбили мирные советские города. Еще не отоблизованная, подвергшаяся внезапному нападению Красная Армия упорно защищала свои рубежи, но вынуждена была постепенно отходить. Гитлер уже оповестил весь мир, что советское сопротивление сломлено, что советская авиация уничтожена, а Красной Армии больше «не существует», что через несколько недель он из стен Кремля продиктует свои условия мира.

Но сопротивление советских войск крепло с каждым часом. Невиданную отвагу, стойкость, самопожертвование показывали рядовые бойцы, командиры, политработники Красной Армии. Они показали и свое умение воевать во всяких условиях, в самой сложной обстановке.

Беспримерный патриотический подъем, яростная ненависть к захватчикам охватили весь советский народ и, как никогда, сплотили его вокруг правительства и партии в едином стремлении остановить врага, спасти родину и освободить ее от фашистской нечисти. С первого часа войны великая непоколебимая уверенность в полной конечной победе ни на минуту не покидала советских людей. Сотни тысяч людей с горячим энтузиазмом шли в ополчение, в партизанские отряды, чтобы своєю грудью преградить путь врагу. Оставшиеся в тылу: в шахтах, у станков, на полях показывали невиданный трудовой подъем, снабжая фронт всем необходимым. «Враг будет разбит» — эта твердая вера живет в сердце каждого советского человека.

Не для того созидал русский народ свою великую культуру, свою тысячелетнюю государственность, не для того он совершил величайшую в мире революцию, открыв новую эру в истории человечества, чтобы все это было разрушено, уничтожено тевтонскими варварами. Советские народы начали Великую Отечественную освободительную войну, которая может закончиться лишь разгромом и уничтожением гитлеровской Германии.

Уже первые недели советско-германской войны стоили гитлеровским захватчикам таких потерь, которых они не понесли за все время военных действий на Западе и на Балканах. И в то время, как Гитлер хвастливо кричал, что полная победа — вопрос нескольких дней, немецкие орды были остановлены и разгромлены под Москвой. Помимо страшных потерь в людской силе и технике, немцы потерпели непоправимый моральный удар. Миф о «непобедимости» германской армии был разрушен. Весь мир мог убедиться, что хваленая германская армия может терпеть поражения. Гитлеру, рассчитывавшему закончить советскую кампанию к осени, приходилось проводить в СССР зиму, к которой его армия была совершенно не подготовлена. Теперь уже сами гитлеровцы откровенно признают, что немецкие войска пережили этой зимой в Советском Союзе совершенно непередаваемые испытания. Но более того, объявленная Гитлером «несуществующей» Красная Армия взяла зимой в свои руки инициативу, сама перешла в наступление и нанесла гитлеровцам ряд сокрушительных ударов.

Все расчеты Гитлера на «молниеносное» окончание войны в СССР потерпели крах. Война становилась затяжной, требовала новых чудовищных жертв и усилий, а ее исход даже в глазах самих гитлеровцев становился сомнительным. Официальные глашатаи фашистской Германии, еще недавно с торжеством вопившие: «Мы победили», вынуждены были сознаться немецкому народу, что «война может закончиться только победой или гибелью Гер-

мании». Война с Советским Союзом явилась тем переломным моментом, начиная с которого Германия роковым образом была обречена на гибель.

Всем памятен сенсационный парашютный прыжок одного из бонз национал-социализма — Р. Гесса. Гитлеровцы пытались тогда представить эту необычную авантюру ближайшего соратника Гитлера как побег в припадке внезапного безумия. Но Гесс был не более безумен, чем в тот день, когда он вступил в национал-социалистическую банду. Он просто был послан фюрером в качестве эрзад-дипломата в Англию, чтобы убедить англичан, что в их прямых расчетах и интересах не вмешиваться в «крестовый поход» гитлеровских меченосцев против «общей коммунистической опасности».

Гесс благополучно сидит в концентрационном лагере, а английское правительство в самый день германского вторжения в СССР сделало торжественное заявление об общности борьбы обеих держав против гитлеровской Германии.

Гитлеровская дипломатия потерпела полное поражение. Борющиеся с Германией государства установили общие цели войны, обязались не вести сепаратных переговоров о мире и взаимно снабжают друг друга необходимыми им для ведения войны ресурсами. Это означает, что Гитлеру не удастся избежать войны на два фронта и что близится день, когда все силы союзников с востока и запада обрушатся на измотанную войной Германию.

СКАЧКА К ПРОПАСТИ

Под громким названием «Нового порядка в Европе» Гитлер поработил большинство европейских стран. «Союзники», вассалы и побежденные почти в равной мере чувствуют на себе железные когти германского стервятника. Европа ограблена и разрушена. Ее богатейшие промышленные предприятия захвачены или скуплены по дешевке магнатами Рура и Лейны; ее предприятия, не работающие на немецкую военную машину, закрыты по приказу гитлеровцев, а их оборудование влыве-

зено в Германию. Гитлеровская Германия путем грубого давления или шантажа заставляет другие государства поставлять ей все новые и новые партии пушечного мяса и рабов для ее заводов и поместий. Европа переживает жуткий голод и нищету, а продовольствие, сырье, товары непрерывно вывозятся в Германию. На Германию работают все гиганты военной промышленности Европы: заводы Шнейдер-Крезе, Шкода, Гочкис и ряд других.

Германский Молох войны ненасытно поглощает все: миллионы солдат, десятки тысяч танков, самолетов, орудий, монбланы снарядов, продовольствия, военные экипировки. И все это для борьбы с одним единственным государством, борьбу, длящейся уже пятнадцать месяцев и становящейся с каждым днем все безнадежнее для гитлеровцев.

Английская авиация наносит разрушения немецким военнопромышленным центрам, но гитлеровцы не способны ей воспрепятствовать или по крайней мере ответить ударом на удар: их авиация «занята» на Востоке. Германия оголяет свои западные гарнизоны: ей необходимы новые и новые резервы взамен тех, что сказочно быстро тают в огне советского фронта. Новое наступление Роммеля после крупных успехов захлебнулось у ворот Александрии; достаточные подкрепления — и он овладеет долиной Нила, достигнет Суэца. Но он не по-

лучит подкреплений — они все брошены в СССР. Гитлер начал новое наступление на южном фронте. Чудовищная германская военная техника, почти вся многомиллионная армия Германии, ее союзников и вассалов брошены против советских войск. Четыре месяца длятся бои, немцы заняли значительные советские территории, но они понесли такие жертвы, от которых не может оправиться ни одна армия, ни одно государство в мире. Стратегический результат этих боев незначителен, ибо Красная Армия не сломлена, ее сопротивление крепнет, ее снабжение боевой техникой возрастает.

Положение самой Германии непрерывно ухудшается. Усиливаются борьба за свое освобождение поработенных Гитлером народов. Европа кипит в огне партизанских движений, диверсионных актов, саботажа против захватчиков. Невиданными темпами идет вооружение Америки, являющееся важнейшей предпосылкой для исхода борьбы. Германские меченосцы думают еще, что они скачут на завоевание мира, но они скачут к страшной пропасти.

Их «молниеносная» война вступила в свой четвертый год. Но борющиеся с гитлеризмом народы приложат все свои усилия, не отступят ни перед какими жертвами, чтобы в этом четвертом году крови и ужасов война закончилась действительно молниеносным разгромом гитлеровской Германии и ее сообщников по международному разбою.

„Радуга“

О. ВОЙТИНСКАЯ

★

Во время жестоких испытаний войны мы познали истинную цену силе душевной, силе сердца. Мы увидели, что мужество побеждает смерть, что стойкость идет рядом с победой.

Война с гитлеровской Германией определяет сейчас дальнейшую судьбу народов. Печальная участь Франции — урок для современного человечества. Выстоять в огне битв, победить немцев стало прогрессивным лозунгом века. Этой великой идее подчинены ратные дела советского народа, его творчество, его быт. Все, что было родным сердцу нашего народа до войны — героика большевистской партии, храбрость, сила характера — расцвело сейчас в своей грозной красоте, в подвигах советских людей, в беспримерной силе сопротивления всего нашего народа.

Воспеть возрастающую силу народного сопротивления, нарисовать картину жизни советского общества в эпоху отечественной войны — что может быть увлекательнее для истинного художника?

В «Литературных мечтаниях» Виссарион Белинский писал, что литературой называется плод свободного вдохновения людей, «...вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизни которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений».

Сколь справедлива и сколь плодотворна эта мысль Белинского! Опыт показывает, что испытание временем выдерживают произведения истинно народные, выражающие «его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений». Мы видим, сколь плодотворно для искусства служение современности, верность исторической правде.

Новая повесть Ванды Василевской — убедительное подтверждение этого вечного правила искусства. Ванда Василевская — талант зрелый и своеобразный.

Написанные по горячим следам времени книги ее составляют широкое полотно судеб, нравов и борьбы людей труда. В них всегда присутствует историческая правда, глубокое понимание современности. Во всех произведениях Ванды Василевской присутствует положительный герой, имя которого — народ.

Повести Василевской прогрессивны по своему устремлению. Лучше всего удаются писательнице картины жизни крестьян, быт которых она хорошо знает.

В нашей стране популярны произведения Ванды Василевской о польских крестьянах, об их печальной жизни под господским ярмом. Свою новую книгу Ванда Василевская посвятила советской Украине, ее свободолюбивым сыновьям и дочерям. Писательнице выпало на долю величайшее счастье быть современником освобождения Западной Украины, пробуждения там новой счастливой жизни.

Она испытала и величайшее горе. Она шла по дорогам народных страданий и своими глазами видела горящие деревни, трупы женщин и детей. Всю войну Ванда Василевская провела на фронте. Женщина-воин, она поставила свой талант на вооружение Красной Армии. Вместе с отрядами красноармейцев Ванда Василевская входила в освобожденные от немцев села. Взору ее открывались картины, какие не может представить самое богатое писательское воображение. Она видела окаменевшие лица осиротелых детей, она слушала рыдания несчастных матерей. При ней снимали с виселиц замученных врагом советских людей. Ей довелось быть очевидцем беспримерных зверств, надругательств над самыми священными человеческими чувствами, и она же была очевидцем величайших воинских подвигов советского народа.

Быть современником большого счастья и горя народного — серьезное испытание для писателя. Человек слабого характера окажется в обозе истории. Сильный сердцем будет на переднем крае обороны. Ванда Василевская не один месяц войны провела на передовой линии борьбы с немецкими захватчиками. Ее статьи били наверняка, прямо в сердце ненавистному врагу. Она мстила за поруганную Польшу, страну, взрастившую ее. Она мстила за сожженные города и села советской страны — своей второй родины, которую она полюбила крепко и навсегда.

«Радуга» свидетельствует о дальнейшем росте таланта писательницы. Это книга о силе сопротивления советского народа, о грядущей нашей победе, написанная с темпераментом истинного публициста и поэтической точностью крупного художника. Повесть сразу нашла дорогу к советскому читателю.

Уже первая глава захватывает читателя напряжением драматических событий, описанием человеческих судеб.

Зима. На окаменевшей от мороза земле лежит юноша. На голове его зияет большая рана, одна ступня треснула от мороза, видна обнажившаяся кость. Около убитого в немом горе стоит мать. «Сынок», — шепчут ее губы.

Только художник мог описать горе Федосьи Кравчук, картину ее свидания с мертвым сыном.

«Она не плакала. Сухие глаза смотрели, видели, впитывали в себя это зрелище: черное, как железо, лицо сына. Круглая дыра на виске, треснувшая ступня и то единственное, что говорило о смертных муках, — искривленные, как когти, сведенные судорогой пальцы, вшившиеся в снег.

Женщина тихонько отряхнула с темных, откинутых назад волос нанесенный ветром снег. Одна темная прядка лежала на лбу. Она не решилась коснуться ее, — прядка прильнула к отверстию раны, врезалась в нее, облепленная кровью.

Все время с тех пор, как она сюда приходила, ей хотелось откинуть эту прядь. Но она боцлась рвануть ее, боялась пошевелить, словно это могло причинить боль умершему, разбередить рану.

— Сынок...

Сухие губы бессознательно шептали это одно единственное слово, будто он мог услышать, будто мог поднять тяжелые, тяжелые почерневшие веки, взглянуть родными серыми глазами.

Женщина застыла в неподвижности, прильнув глазами к черному лицу. Она не чувствовала мороза, не ощущала онемения в коленях. Она смотрела.

С дерева, одиноко торчавшего над оврагом, поднялась ворона. Она тяжело взмахнула крылом, описала круг и опустилась на ком тряпья под кустом. Наклонила голову, всмотрелась. Рыжие пятна крови пропитали насквозь простреленные пулями сукно. Птица с минуту была неподвижна, словно раздумывала. Потом ударила клювом. Раздался стук. Мороз сделал свое дело. Все, что осталось с месяц тому назад, превратилось в камень.

Женщина очнулась от мертвой неподвижности.

— Кыш!

Ворона тяжело поднялась и опустилась в нескольких шагах на засыпанную снегом человеческую фигуру.

— Кыш!

Она подобрала смерзшийся комоч снега и бросила в птицу. Ворона вско-

лыгнулась и лениво перелетела на свое прежнее место на дереве. Женщина поднялась с колен, вздохнула, еще раз взглянула на сына и повернула на тропинку.

Она наклонилась над прорубью, набрала воды и стала медленно подниматься вверх, сгибаясь под тяжестью полных ведер. Солнце за это время поднялось выше, мороз не уменьшался.»

Только талант мог нарисовать эту картину человеческого страдания. Только художник мог так скульптурно описать пейзаж смерти, леденящий мороз, прядку, прильнувшую к отверстию раны, ворону, стучащую клювом по окаменевшему телу. Это реалистично, физически ощутимо и жизненно точно. Картина эта принадлежит к лучшим страницам современной литературы.

Месяц лежало на снегу тело сына украинской крестьянки.

Каждый день приходила сюда старая мать, каждый день ее обескровленные губы шептали слова любви и ненависти. За время войны мы привыкли к человеческим страданиям. Мы познали им истинную цену, ту цену, которая открывается во время больших исторических событий. Но к такому горю, к такому страданию привыкнуть нельзя. Трагическая судьба Федосьи Кравчук не дает читателю покоя. Она тревожит его, она зовет к бою. Ванда Василевская, преследуя художественно-пропагандистские цели, никогда не сбивается на дидактику, на нравоучение. Она верна жизненному факту, исторической правде. Сумев увидеть жизнь народа, она сумела и реалистически точно рассказать о ней. Произведение ее — истинная публицистика в самом лучшем, в самом благородном смысле этого слова. Повесть Ванды Василевской публицистична именно потому, что она по-настоящему художественна.

Ванда Василевская создала образ Федосьи Кравчук, простой украинской крестьянки, готовой к борьбе не на жизнь, а на смерть с немецкими захватчиками. Опыт подсказал старой крестьянке мысль о необходимости стойкости и борьбы.

Вся повесть посвящена возрастающей силе сопротивления советского народа.

И в этом большое общественное значение повести. Причем писательница не стремится навязать вам свою мысль. Она рисует картину жизни народа, и эта картина приводит вас к этой идее.

Очень хороша в повести сцена допроса партизанки Олены Костюк. Крестьянка того же села, что и Федосья, Олена Костюк ушла в партизаны, скрыв свою беременность. Когда пришло время родить, она была вынуждена вернуться в деревню. Там ее захватили немцы. Немецкий офицер Вернер, садист, допрашивает несчастную беременную женщину. Он требует указать место пребывания партизанского отряда. Олена молчит. Вернер отдает распоряжение подвергнуть ее пытке.

«Было светло, как днем, — пишет Ванда Василевская. — Лунный свет превратил весь мир в голубую плиту льда, и Федосья ясно увидела: по дороге от площади бежала нагая женщина. Нет. Она не бежала, — наклонившись вперед, она с усилием делала мелкие шаги, переваливаясь с ноги на ногу. При лунном свете был ясно виден ее огромный живот. За ней шел солдат. Над наклоненной, протянутой вперед винтовкой поблескивало жало штыка. Когда женщина на секунду останавливалась, штык высовывался вперед и колос ей шпину. Солдат что-то выкрикивал, орал два его товарища, а беременная снова с усилием двигалась вперед, согнувшись вдвое, пытаясь бежать. Пятьдесят метров вперед, и солдат заставлял свою жертву повернуть обратно. Пятьдесят метров назад, и опять то же самое».

Эта картина приобретает характер символа.

Это вся деревня падала в ту ночь в снег лицом, тяжело поднимаясь под ударами немецких прикладов. Это Украина истекала кровью под немецким сапогом, под немецким разбойничьим иглом, под немецким кулаком.

Это — истерзанная, истекающая кровью Украина на немецком допросе держит себя, как судья, выносящий свой приговор над оккупантами.

Описания поведения и смерти Олены принадлежат к числу лучших страниц

повести. Измученную нагую Олену бросают в холодный сарай. Там она рождает, крича по-звериному, не ожидая помощи. Но деревня приходит ей на помощь. Маленький десятилетний Мишка, сын местного партизана, пробрается к ней с куском хлеба. Мишку убивают. Горе его матери беспредельно. Она тайком на животе ползет по рву, чтоб унести к себе домой убитого первенца. Когда ее младшая дочка Зина говорит: «Не надо было пускать Мишку», Малючиха глухо отвечает:

«Ох, надо было, надо. Отец ему говорил, когда уходил в партизаны: «Ты же смотри, не осрами меня здесь!» Вот Мишка и послушал, не принес срама своим... Понимаешь?»

Сурово нарисовал автор повести похороны Мишки. Мать решает похоронить его под полом. Она вырывает землю лопатой, руками. Она утаптывает ногами могилу. Эти страницы, страшные по своей правде, потрясающие по своей психологической точности и художественной силе, запомнятся надолго.

Герои повести Василевской обыкновенные советские люди. В годину тяжелых народных испытаний все они становятся героями. И это исторически верно. Силу народную Ванда Василевская показывает в поступках рядовых советских людей. И Федосья Кравчук, и Олена Костюк обыкновенные деревенские женщины. До войны в их биографии не было ничего примечательного. Но на допросе у немцев Олена вырастает в народную героиню, в женщину огромной нравственной силы. Вернер снова вызывает ее на допрос. Придумана беспримерная пытка. Вернер заявляет, что если Олена будет молчать, ребенка расстреляют. Всю жизнь Олена мечтала о рождении ребенка. Но на допросе у немцев она молчит. Она думает о тех, кто остался в лесу, о своих «сыновьях», которые звали Олену партизанской матерью.

Немецкий офицер спрашивает:

— Это твой единственный ребенок?

— Нет, — гордо отвечает Олена, — у меня много сыновей там, в лесу.

Взбешенный Вернер хватается ребенка. Со вздутым животиком, со сти-

снутыми кулачками, голеный, лежал ребенок на столе и кричал...

Олена продолжала молчать. Пуля немца раздробила головку новорожденного. Движение сердца вырвало у Олены крик отчаяния, и все же она молчит о местоположении отряда. Взбешенный Вернер приказывает ее расстрелять на берегу реки. Победитель чувствует себя ослабевшим перед мужеством, перед стойкостью этой беззащитной, замученной женщины. Он бежит за ней, он стремится вырвать у нее слова признания. Олена молчит. Вернер подвергает ее мучительной казни. Он бьет по уже мертвым, опухшим от пыток ногам, он пытается победить мертвеца. Но побежден он, и гибель его неизбежна.

Судьба Олены зовет к мести. В народе нашем всегда были любимы образы людей сильного характера и мужественной души. Колхозница Олена Костюк, павшая как воин на поле битвы, один из самых благородных и самых замечательных образов в нашей современной литературе. Создание такого образа — удар по врагу.

Величественна Федосья Кравчук в своем материнском горе, в своей отважной борьбе против немцев.

Величественна Ольга в своей беспримерной жертве. Она положила на алтарь отечества самое дорогое, самое любимое — сына.

Величественна Малючиха, твердо усвоившая мораль советского патриота и даже после гибели Мишки глухо говорившая: «Ох, надо было ему пойти, надо было». Один только раз дрогнуло у Малючихи сердце, когда, из-за ее Мишки, немцы взяли заложников в деревне. Пошла тогда мишкина мать к жене заложника и, поклонившись ей в землю, призналась, что это за ее сына «твой и те другие сидят у немцев». Малючиха решается пойти к врагам и заявить, что она тайком похоронила своего ребенка.

«Либо в тебе совесть не крестьянская и бабья», — сурово возражает ей Грохачиха. Она, жена смертника, стыдит Малючиху. Не след, мол, к нем-

цам ходить, держаться надо, готовиться к бою против немцев.

Вот о каких удивительных по цельности природы, по отваге сердца людей написала Ванда Василевская свою новую повесть.

Нет, это не только описание народных страданий под немецким игом. Такая книга была бы очень нужна, но она еще не была бы произведением социалистического реализма. Ванда Василевская написала книгу о воле народа к победе, о его все побеждающей силе сопротивления. Нет такого врага, который сумел бы покорить наш народ, поставить его на колени.

В новой повести Ванда Василевская воспитывает силу характера, цельность природы, отвагу сердца. Она посвятила свои лучшие страницы создателям нашей победы, рядовым сыновьям и дочерям советского народа, не жалеющим жизни своей во имя победы, во имя разгрома ненавистного врага.

Трогают в повести картины появления советского самолета над оккупированной деревней.

В повести удачны и описания природы, и народные сцены. В ней есть настоящие характеры, психологически верное изображение человеческих переживаний. К числу лучших страниц повести относятся описания немецкого плена, невыносимого людского горя. Ванде Василевской удалось не только положительные персонажи повести. Отлично выписаны характеры подлых предателей, падение бывшей жены красного командира Пуси, изменившей родине во имя «благополучной жизни» и ставшей проституткой. История бесславной жизни и гибели старосты Гаплика бесспорно удалась писательнице. Прекрасно сделана сцена крестьянского суда над старостой в оккупированной немцами деревне. «Даже полюбки умереть не умешь», — презрительно бросает старосте Пелагея. «У себя жить не умел, как человек, и умереть, как человек, не может», — возмущается она.

Ванда Василевская первая в нашей литературе создала широкие картины жизни и борьбы советского крестьянства с немецкими оккупантами.

В «Радуге» много верных наблюдений, больших идей. Ванда Василевская пишет, что немцы, помимо своей воли, учат людей любви к советской власти. «В любой деревне, где хотя бы один день слезами и кровью проложило свой след немецкое хозяйничанье, навеки, из поколения в поколение, не будет недовольных, ленивых, равнодушных к советской власти людей». Это правильная, очень значительная мысль.

Она обоснована всем содержанием повести, описанием судеб ее героев, она подтверждается опытом нынешней войны, страшным опытом десятков тысяч людей, изнывающих под немецким игом.

Другого пути нет: либо смерть, либо победа. К этой основной идее нашего времени Василевская приводит читателя «Радуги».

Повесть заканчивается изображением боя красноармейского отряда с немцами, картиной разгрома немецкого гарнизона. С большой художественной силой описана эта победа.

«Ровным широким шагом отряд движется дальше. Он уходит по дороге в безграничную даль равнин, в сияние радуги.

...Красноармейцы уходили к бледнеющим вдали струйкам дыма над сожженной Леваневкой. Сжимая в руках винтовки, они шли в украинскую степь, в крови и пламени, в украинскую землю, под немецким ярмом растоптанную, задушенную, непобежденную, борющуюся, негибаемую».

Образ «Радуги» вырастает в символ победы, в символ разгрома немецких оккупантов...

Радостно писать о близком сердцу народа произведении. Наш век суровый век. Он не терпит ничего слабого, расплывчатого, поддельного. Ему нужны произведения, овеянные пламенем боев, героикой нашего времени. «Радуга» Ванды Василевской принадлежит к числу таких произведений.

Библиография

КНИГА О МЕХАНИЗМЕ ГИТЛЕРОВСКОЙ ДИКТАТУРЫ*

«Фашизм привык делать историю при помощи потоков крови, грязи и предательства; это движение, которое никогда не борется в открытую, всегда нападает из-за угла и впивается в горло»; все прошлое и настоящее гитлеризма подтверждает эту характеристику, данную ему известным иностранным публицистом Эрнстом Генри, автором ряда работ о гитлеровской агрессии. Гитлеризм создавал до захвата власти и на протяжении последующих девяти лет своего злодейского хозяйничания всемерно расширял и укреплял свой сложный механизм политического бандитизма, который функционировал и функционирует, как орудие необузданного произвола и террора внутри Германии и как орудие хищнического германского империализма — во вне. Эта, созданная еще до захвата власти машина насилия и устрашения легла в основу того механизма немецко-фашистской диктатуры, который нашел свое воплощение в бандитском режиме Третьей империи в целом.

Сказанное относится к таким орудиям гитлеровского разбоя, как штурмовые отряды, всасовцы, тайная полиция и т. д. Изучение хода развития и нынешнего состояния всей «структуры» насилия позволяет раскрыть некоторые «секреты» того давления, которое гитлеризм сумел оказать на морально-психологическое состояние германского народа и использовать как орудие осуществления маниакально кровавых планов гитлеровской шайки. Именно эту задачу изучения пружин системы гитлеровской диктатуры и поставил перед собой академик И. П. Трайнин в своей новой книге «Механизм немецко-фашистской диктатуры».

Указывая, что «государственный механизм — это вся система государственных органов, учреждений, общественно-политических организаций, которые во взаимодействии обеспечивают деятельность (функции) государства в

соответствии с волей и интересами господствующего в государстве класса» (стр. 13), автор подчеркивает, что «фиксирует в своей работе основное внимание на вопросах, связанных с государственным механизмом, посредством которого гитлеризм угнетает германский народ и стремится поработить весь мир» (стр. 14).

Естественно, что — как о том особо оговаривается автор, — книга лишь мимоходом, в меру абсолютной необходимости, останавливается на «теоретических изысканиях» гитлеризма, равно как и на экономике и «культуре» гитлеровской Германии: как сказано, в центре внимания книги стоит государственно-правовой режим Третьей империи и ее аппарат террористической диктатуры. И. П. Трайнин показывает, что если «современная цивилизация давно осудила и отбросила деспотические формы правления», то «фашизм возродил их в Германии в самой дикой и вздорной форме». Это результат целеустремленной политики наиболее реакционных, шовинистических и хищнических элементов германского империализма, ставящей своей задачей «освободить правящую клику от всякого общественного контроля» и потому сосредоточившей власть в руках одного физического исполнителя воли этой правящей клики, то-есть германской империалистической плутократии. Лежащий в основе «государственной концепции» германского фашизма пресловутый «принцип вождизма» («фюрер-принцип») — второй, наряду с «принципом расизма», столп идеологии Третьей империи является в существе своем бредовой мистической оболочкой, сознательно сотканной фашизмом, чтобы предельно скрыть от народных масс империалистическо-хищническую и грубо-эксплуататорскую природу гитлеровского «вождевого государства».

В первой главе книги «Гитлеризм до и после прихода к власти», имеющей вводный характер, — автор раскрывает реальную, классово-политическую сущность гитлеровской диктатуры и в частности понятий закона и права в фашистской Германии, как закона и права, преследующих одну единственную в

* Акад. И. П. Трайнин. «Механизм немецко-фашистской диктатуры». Государственное издательство УзССР. Ташкент, 1942.

сущности цель, а именно утверждение беззакония и ничем неограниченного террора.

Дальнейшие главы книги посвящены прошлому и настоящему различных частей и сторон фашистского аппарата насилия и террора. Таковы в частности главы о СА (штурмовых отрядах), этой основной вооруженной силе, составленной из деклассированных элементов, авантюристов и всякого сорта любителей приключений и легкой наживы, вобравшей в себя всю муть разных реакционных тайных террористических организаций, которыми кишела послевоенная Германия. Именно, опираясь на эти банды, Гитлер вел превентивную гражданскую войну против передовых элементов германского народа.

Проанализировав причины пресловутой «ночи длинных ножей» — расправы Гитлера с Ремом и другими руководителями фрондирующих штурмовиков в июне 1934 года, автор разъясняет роль СА в нынешних условиях, когда штурмовики, хотя и потеряли свое былое значение основной вооруженной банды фашизма и опоры фашистского режима, все же остаются далеко не последним орудием террора внутри Германии и подготовки военных кадров.

Другая специальная глава имеет своей темой прошлое и настоящее СС (охранных отрядов). Автор разъясняет структуру СС. Эти отряды подразделяются на 1) общие отряды, выполняющие полицейские функции в качестве «политических солдат фюрера», 2) на отряды СС для особых поручений и 3) отряды «мертвой головы», занимающиеся в частности охраной концентрационных лагерей. Уже к 1940 году общая численность СС составляла около 300 тысяч человек, разбитых на 14 главных разделений, 38 более мелких разделений, 104 пехотных, 19 кавалерийских, 14 разведывательных и 9 инженерных частей, не считая моторизованных и санитарных. Наряду с чисто военными и охранными функциями СС выполняли и специальные жандармско-полицейские функции, в прямом сотрудничестве с гестапо, особо подчеркнутые приказом Гитлера от 9 июня 1934 года: как известно, и СС, и гестапо возглавляются одним лицом — палачом Гиммлером.

Злодейская роль эсесовских бандитов на советско-германском фронте известна достаточно хорошо: нет предела злодеяниям этой отборной гвардии гитлеровской собачьей своры.

Из других частей книги отметим главу о «гитлеровской молодежи»: в ней дается подробное описание структуры этой организации, в которой с особенной силой и выразительностью сказалось смрадное и разлагающее влияние гитлеризма, этого питомника фашистских разбойников.

Отметим далее главу о так называемом «национал-социалистском моторизованном корпусе», функции которого сравнительно мало известны. До прихода Гитлера к власти задачей этого корпуса было использование моторизованного транспорта для нужд фашист-

ской партии, причем особенная потребность в этом возникла при массовых выступлениях фашистов во время выборных кампаний, при массовых перебросках коричневых банд, и, наконец, в целях использования всех видов моторизованных средств передвижения для военной подготовки гитлеровцев. Машины корпуса состояли в то время частью из частных машин членов нацистской партии, а частью из машин, «любезно» предоставлявшихся фашистским бандам владельцами автомобильных и других заводов. Собственники машин, как и владельцы промышленных предприятий, предоставляли моторизованному корпусу также свои ремонтные мастерские. Считалось также в порядке вещей, что шоферы машины состояли членами моторизованного корпуса. В дальнейшем, после 1933 года, корпус, оставаясь формально «добровольной организацией», стал фактически одним из рычагов перевооружения германской армии, опорным пунктом для всяких военно-технических экспериментов и резервуаром новых технически вышколенных кадров. По фашистским данным, число членов моторизованного корпуса к 1939 году достигло полумиллиона членов. Вряд ли приходится особо оговаривать, что курс вождения машин всякого рода сопровождался и соответствующей идейной обработкой будущих участников гитлеровской грабярмии.

«Национал-социалистский корпус летчиков», «национал-социалистский имперский союз воинов», «имперский союз верности бывших солдат», культивирующие строжайшую кастовость офицерского фашистского корпуса — таковы некоторые другие рычаги фашистского террора, подготовки и осуществления тотальной войны.

Академик Трайнин излагает подробно и ряд других общих и частных его сторон. Он показывает абсолютную бесконтрольность германских фашистских властей, не несущих абсолютно никакой ответственности перед германским народом.

Имеются далее в книге главы о структуре центрального германского правительства с перечислением всех ведомств, — министерств и лиц, их возглавляющих, излагается государственно-административное устройство Третьей империи, в частности, полиции, в том числе и гестапо. Особо следует отметить главы о механизме по руководству армией, хозяйством и пропагандой.

Новая книга академика Трайнина, как видим, дает всестороннюю картину едва ли не всех основных — а иногда и второстепенных — элементов фашистского правительственного, военного и нацистски-партийного механизма. Книга, повторяя и систематизируя частью уже известные подробности, содержит много малоизвестных данных, почерпнутых из различных, преимущественно иностранных источников. Автору можно, пожалуй, бросить упрек в чрезмерном увлечении деталями, подробно, с тем, что дающими для уяснения сущ-

ности и самого характера функционирования механизма в целом. В ряде мест автор, уделяя много внимания структурным деталям, не показывает механизма в действии.

Книга И. П. Трайнина, изданная Институтом права Академии наук, является нужной, к тому же единственной по полноте работой на тему о внешнем, техническом аппа-

рате, за кулисами которого стоит германский империализм, — эта самая отвратительная, отталкивающая разновидность империализма, чудовишным воплощением которого является гитлеризм, страшное зло, подлежащее уничтожению во имя спасения человечества.

И. Эльвин

★

СТИХИ О ГЕРОИЗМЕ И МУЖЕСТВЕ*

Стихи умирают вообще медленно, если в них было заложено хоть что-нибудь живое, — говорил на первом съезде советских писателей Николай Тихонов. Поэт был прав. И лучшим доказательством его правоты служат его собственные стихи. Двадцать лет тому назад были написаны такие вещи Тихонова, как «Перекоп», «Баллада о гвоздях», «Песня об отпуском солдате», «Баллада о синем пакете», «Мост», но до сих пор живут они в советской литературе среди очень немногих поэтических произведений, сохранившихся от того времени. Как бы ни были справедливы утверждения нашей критики об известной абстрактности ранних стихов Тихонова, уже в них было заложено нечто такое, что обеспечило им долгую плодотворную жизнь. И прежде всего это было осознание величия и неповторимости переживаемой эпохи, ощущение отваги и героизма творящих ее людей.

В наши дни творчество Тихонова переживает новый период подъема. Об этом свидетельствует книга «Огненный год», где собраны произведения, написанные поэтом за время Великой Отечественной войны.

Почти половину сборника, весь первый его раздел, составляют стихи, посвященные Ленинграду. Вдохновенные слова находит поэт для великого города Ленина, вместе с которым перенес он трудные и незабываемые месяцы осады. Стихи эти звучат, как гимн славной северной столице, ее героическим сынам, чье мужество и отвага войдут в века.

О Ленинграде в дни войны написано немало, но можно с полным основанием сказать, что никому это не удалось сделать так проникновенно, как сделала это Тихонов. И его рассказы «Черты советского человека», и ленинградские стихи прочно войдут в литературу о Ленинграде эпохи Великой Отечественной войны.

Тихонов чувствует биение пульса великого города, слышит его горячее дыхание. Если иные из наших поэтов, обращаясь к славному историческому прошлому Ленинграда, нередко видят его запечатленным, главным образом, в статуях и памятниках, то Тихонову свой-

ственно, прежде всего, живое ощущение славной истории города, истории, которая оживает теперь в героических делах нынешних ленинградцев. С наибольшей силой душа Ленинграда выражена Тихоновым в поэме «Киров с нами». Образ Кирова в поэме Тихонова воплощен не как застывший величественный монумент, а как живой деятель нашего времени, весь в движении, в устремлении вперед. Это прекрасно выражено уже в первых строках поэмы:

В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет,
В шинели армейской походной,
Как будто полков впереди.
Идет он тем шагом свободным,
Каким он в сраженья ходил.

И вся поэма — это как бы панорама сегднешнего Ленинграда, заснятая (употребляя кинематографический термин) «с движения».

Образы чудесных защитников Ленинграда встают перед нами в стихах Тихонова. И вновь оживает под рукой мастера характерный для его ранних произведений балладный строй, чтобы прославить боевые дела защитников нашей родины. Но если в прежних балладах Тихонова изображение сурового мужества было ведущим и единственным началом, то теперь его баллады, быть может, несколько потеряв в своей прославленной, скупой, но немного однообразной выразительности, стали богаче в оттенках мыслей и чувств, воплощенных в них поэтом. Такова «Баллада о трех коммунистах», где дан не только самый подвиг, но раскрыто авторское отношение к нему:

Простые люди русские стоят у стен седых,
И щели дзотов узкие закрыты грудью их!

Запечатленное в лирическом обращении поэта к своим героям, это авторское отношение пронизывает собой и наиболее крупное произведение сборника — «Слово о 28 гвардейцах». Однако в «Слове», как и в других стихах поэта, лирика нигде не становится самодовлеющим началом, нигде не подчиняет себе основное эпическое звучание темы. Творческая манера поэта здесь как нельзя более соответствует самому характеру изображаемых событий. Как ни подкупает своим огромным лиризмом поэма Светлова о двадцати восьми героях, все же после прочтения ее остается чувство некоторой неудовлетворенности. У Светлова

* Николай Тихонов. «Огненный год». «Советский писатель», М., 1942.

огромная эпическая тема оказывается растворенной в лирической стихии. В его поэме самые контуры событий, образы героев приобретают черты несвойственной им в действительности зыбкости и неуловимости. Суровая эпичность событий вступает в явное противоречие с самодовлеющей лирической стихией. Тихонов нашел нужную интонацию для раскрытия подвига двадцати восьми. И, хотя его произведение не исчерпывает до конца большой и волнующей темы, но в качестве одной из первых попыток воплощения ее в поэзии оно должно быть признано несомненной удачей.

Рядом со «Словом о 28 гвардейцах» в книге помещены такие стихотворения, как «Три кубка», «Годовщины», «Растет, шумит тот вихрь народной славы». Во всех этих стихах мужественный голос поэта звучит твердой уверенностью в нашей конечной победе. Эта уверенность диктует Тихонову проникновенные строки, которыми завершаются «Три кубка», написанные в тяжелые для Ленинграда январские дни 1942 года. С полным сознанием силы и мощи советского народа поэт провозглашает то же за то:

Чтоб смерть ни бомбой, ни картечью
Не оскорбляла ясный день,
Чтоб человек, расправив плечи,
Согнал улыбки скорби тень.

Поэзия Тихонова всегда находила доступ к сердцам мужественных самоотверженных людей. Эдуард Багрицкий неслучайно считал томик тихоновских стихов непрременной принадлежностью советского бойца. В наши дни, когда поэзия принята на вооружение борющегося народа, стихи Тихонова больше, чем когда бы то ни было, созвучны мыслям и чувствам защитников социалистической родины. И полон глубокого внутреннего значения тот факт, что не так давно, обращаясь по радио к своим близким, один из бойцов Красной Армии просил выслать ему на фронт роман Бородина «Дмитрий Донской» и стихи Тихонова. Вдохновляемая героизмом и мужеством, поэзия Тихонова сама вдохновляет наших воинов на новые подвиги во славу родины. Что может быть прекраснее и возвышеннее этой почетной и ответственной задачи?

Вл. Афанасьев

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой,
К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А61317. 8 печ. листов. Тираж 40.000. Зак. 1851.
Подписано к печати 16/X—21/X—1942 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.